

МАРИО И ФОКУСНИК

Вспоминать наше пребывание в Торро-ди-Венере и всю тамошнюю атмосферу тягостно. С самого начала в воздухе ощущалось раздражение, возбужденность, взвинченность, а под конец еще эта история с ужасным Чиполлой, в чьем лице роковым и вместе с тем впечатляющим образом словно бы нашло свое воплощение и угрожающе сгустилось все специфически злокачественное этого настроения. То, что при страшной развязке (развязке, как нам казалось потом, заранее предначертанной и, в сущности, закономерной) присутствовали наши дети, было, конечно, прискорбно и непозволительно, но нас ввела в заблуждение мистификация, к которой прибегнул этот весьма необычный человек. Слава богу, дети так и не поняли, когда кончилось лицедейство и началась драма, и мы не стали выводить их из счастливого заблуждения, что все это было игрой.

Торре расположен километрах в пятнадцати от Портеклементе, одного из самых популярных курортов на Тирренском море, по-столичному элегантно и большую часть года переполненного, с нарядной, застроенной отелями и магазинами эспланадой вдоль моря, с пестрящим кабинками, флажками песочных замков и загорелыми телами, широченным пляжем и шумными увеселительными заведениями. Поскольку пляж, окаймленный рощей пиний, на которую смотрят сверху ближние горы, покрыт вдоль всего побережья тем же мелким песком, удобен и просторен, не мудрено, что чуть поодаль вскоре возник менее шумный конкурент. Торре-ди-Венере, где, впрочем, напрасно будешь озираться в поисках башни, которой поселок обязан своим названием, представляет собой как бы филиал соседнего большого курорта и на протяжении ряда лет был раем для немногих, приютом для ценителей природы, не опошленной светской толпой. Но, как это водится с такими уголками, тишине давно пришлось отступить еще дальше по побережью, в Марина-Петриера и бог весть куда; свет, как известно, ищет тишины и ее изгоняет, со смешным вожделием набрасываясь на нее и воображая, будто способен с ней сочетаться и будто там, где пребывает она, может находиться и он; что говорить, даже раскинув в ее обители свою ярмарку, он готов верить, что тишина еще осталась.

Вот и Торре, хотя он пока еще и поспокойнее и поскромнее, чем Портеклементе, уже вошел в моду у итальянцев и приезжих из других стран.

В международный курорт больше не едут или не едут в прежней мере, что не мешает ему оставаться шумным и переполненным международным курортом; едут чуть подальше, в Торре, это даже шикарнее, а кроме того, дешевле, причем притягательная сила этих достоинств остается неизменной, хотя сами достоинства исчезли. Торре обзавелся «Гранд-отелем», расплодились бесчисленные пансионаты с претензиями и попроще, так что владельцы и наниматели вилл и садиков в сосновой роще, над морем уже не могут похвастаться покоем на пляже; в июле-августе там точно та же картина, что и в Портеклементе: весь пляж кишмя кишит гомонящими, галдящими, радостно гогочущими купальщиками, которым неистовое солнце лохмотьями сдирает кожу с шеи и плеч; на искрящейся синеве покачиваются плоскодонные, ядовито окрашенные лодки с детьми, и звучные имена, которыми окликают своих чад боящиеся потерять их из виду мамы, насыщают воздух хриплой тревогой; а к этому добавьте еще разносчиков устриц, прохладительных напитков, цветов, коралловых украшений, cornetti al burro*, кото-

* Рожков в масле (ит.)

рые, переступая через раскинутые руки и ноги загорающих, тоже по-южному гортанными и бесцеремонными голосами предлагают свой товар.

Так выглядел пляж в Торре, когда мы прибыли, — красочно, ничего не скажешь, но мы все же решили, что приехали слишком рано. Стояла середина августа, итальянский сезон был еще в самом разгаре — для иностранцев не лучшая пора, чтобы оценить прелесть этого местечка. Какая после обеда толчея в открытых кафе на променаде вдоль моря, хотя бы в «Эсквизито», куда мы иногда заходили посидеть и где нас обслуживал Марио, тот самый Марио, о котором я намерен рассказать! С трудом найдешь свободный столик, а оркестры — каждый, не желая считаться с другими, играет свое! К тому же как раз после обеда ежедневно прибывает публика из Портеклементе, ибо, понятно, Торре излюбленная цель загородных прогулок для непоседливых отдыхающих большого курорта, и, по вине мчащихся взад и вперед фиатов, кусты лавров и олеандров по обочинам ведущего оттуда шоссе покрыты, как снегом, дюймовым слоем белой пыли — диковинная, однако отвратительная картина.

В самом деле, ехать в Торре-ди-Венере надо в сентябре, когда широкая публика разъезжается и курорт пустеет, или же в мае, прежде чем море прогреется настолько, чтобы южанин рискнул в него окунуться. Правда, и в межсезонье там не пусто, но куда менее шумно и не так заполнено итальянцами. Английская, немецкая, французская речь преобладает под тентами кабин на пляже и в столовых пансионатов, тогда как еще в августе, по крайней мере в «Гранд-отеле», где мы за неимением частных адресов вынуждены были остановиться, такое засилие флорентийцев и римлян, что иностранец чувствует себя не только посторонним, но как бы постояльцем второго сорта.

Это мы с некоторой досадой обнаружили в первый же вечер по приезде, когда спустились обедать в ресторан и попросили метрдотеля указать нам свободный столик. Против отведенного нам столика, собственно, нечего было возразить, однако нас пленила выходящая на море застекленная веранда, которая, как и зал, была заполнена, но где еще оставались свободные места и на столиках горели лампочки под красными абажурами. Такая праздничность привела в восторг наших малышей, и мы по простоте душевной заявили, что предпочитаем столоваться на веранде, — тем самым, как оказалось, обнаружив полную свою неосведомленность, ибо нам с некоторым смущением разъяснили, что эта роскошь предназначена «нашим клиентам», «ai nostri clienti!». Нашим клиентам? Стало быть, нам. Мы ведь не какие-нибудь бабочки-однодневки, а прибывшие на три недели или месяц постояльцы, пансионеры. Впрочем, мы не пожелали настаивать на уточнении различия между нами и той клиентурой, что вправе кушать при свете красных лампочек, и съели наш pranzo* за скромно и буднично освещенным столом в общем зале — весьма посредственный обед, безличный и невкусный гостиничный стандарт; кухня пансиона «Элеонора», расположенного на какие-нибудь десять шагов дальше от моря, показалась нам потом несравненно лучше.

Туда мы перебрались всего через три или четыре дня, даже еще как следует не освоившись в «Гранд-отеле» — и вовсе не из-за веранды и красных лампочек: дети, сразу подружившись с официантами и посыльными, без памяти радуясь морю, очень скоро и думать забыли о красочной приманке. Но с некоторыми завсегдатаями веранды или, вернее, с пресмыкавшейся перед ними дирекцией отеля тотчас возник один из тех конфликтов, которые способны с самого начала испортить все пребывание на курорте. Среди приезжих была римская знать, некий principe** Икс с семейством, номер этих господ находился по соседству от нашего, и княгиня, великосветская дама и вместе с тем страстно любящая мать, была напугана остаточными явлениями коклюша, который оба наши малыша незадолго перед тем перенесли и слабые отголоски которого еще изредка по ночам нарушали обычно невозмутимый сон нашего младшего сына. Сущность этой болезни не очень ясна, что оставляет простор для всяких предрассудков, а потому мы несколько не обиделись на нашу элегантную соседку за то, что она разделяла ши-

* Обед (ит.)

** Князь (ит.)

роко распространенное мнение, будто коклюшем заражаются акустически, — иначе говоря, попросту опасалась дурного примера для своих детей. По-женски гордясь и упиваясь своей знатностью, она обратилась в дирекцию, после чего облаченный в непременный сюртук управляющий поспешил с превеликим сожалением нас известить, что в данных обстоятельствах наше переселение во флигель отеля совершенно обязательно. Напрасно заверяли мы его, что эта детская болезнь находится в последней стадии затухания, что она фактически преодолена и не представляет уже никакой опасности для окружающих.

Единственной уступкой нам было дозволение вынести случай на суд медицины, гостиничный врач — и лишь он, а не какой-нибудь приглашенный нами — может быть вызван для разрешения вопроса. Мы согласились на это условие, поскольку не сомневались в том, что таким образом и княгиня успокоится, и нам не придется перебираться. Приходит доктор, он оказывается честным и достойным слугой науки. Он обследует малыша, находит, что тот совершенно здоров, и отрицает какую-либо опасность. Мы полагаем себя вправе считать дело улаженным, как вдруг управляющий заявляет, что, несмотря на заключение врача, нам надлежит освободить номер и переселиться во флигель.

Такое раболепие возмутило нас. Вряд ли вероломное упорство, с которым мы столкнулись, исходило от самой княгини. Скорее всего, подобострастный управляющий просто не решился доложить ей заключение врача. Как бы то ни было, мы уведомили его, что предпочитаем вообще выехать, притом немедленно, — и стали укладываться. Мы могли так поступить с легким сердцем, потому что тем временем успели мимоходом побывать в пансионе «Элеонора», сразу приглянувшись нам своим приветливо-семейным видом, и познакомиться с его хозяйкой, синьорой Анджольери, которая произвела на нас самое благоприятное впечатление.

Миловидная, черноглазая дама, тосканского типа, вероятно немногим старше тридцати, с матовой, цвета слоновой кости, кожей южанки, мадам Анджольери и ее супруг, всегда тщательно одетый, тихий и лысый господин, содержали во Флоренции пансион покрупнее и лишь летом и ранней осенью возглавляли филиал в Торре. Раньше, до замужества, наша новая хозяйка была компаньонкой, спутницей, костюмершей, более того — подругой Дузе, — эпоха, которую она, по-видимому, считала самой значительной и счастливой в своей жизни и о которой в первое же наше посещение принялась оживленно рассказывать. Бесчисленные фотографии великой актрисы с сердечными надписями и другие реликвии их прежней совместной жизни украшали стены и этажерки гостиной г-жи Анджольери, и хотя было ясно, что этот культ ее интересного прошлого в какой-то мере также призван увеличить притягательную силу ее теперешнего предприятия, мы, следуя за ней по дому, с удовольствием и участием слушали преподносимый на отрывистом и звучном тосканском наречии рассказ о безграничной доброте, сердечной мудрости и отзывчивости ее покойной хозяйки.

Туда-то мы и велели перенести наши вещи к огорчению служащих «Гранд-отеля», по доброму итальянскому обыкновению очень любящих детей; предоставленное нам помещение было изолированным и приятным, путь к морю, по аллее молодых платанов, выходящей на приморский променад, близок и удобен, столовая, где мадам Анджольери ежедневно в обед собственноручно разливала суп, прохладна и опрятна, прислуга внимательна и любезна, стол преотличный, мы даже встретили в пансионе знакомых из Вены, с которыми после обеда можно было поболтать перед домом и которые, в свою очередь, свели нас со своими друзьями, так что все могло бы быть прекрасно — мы только радовались перемене жилья, и ничто, казалось, не мешало хорошему отдыху.

И все-таки душевного покоя не было. Возможно, нас продолжала точить вздорная причина нашего переезда — я лично должен признать, что с трудом прихожу в равновесие, когда сталкиваюсь с такими общераспространенными человеческими свойствами, как примитивное злоупотребление властью, несправедливость, холуйская развращенность. Это чрезмерно долго занимает меня, погружает в раздумье, раздражающее и бесплодное, потому что подобные

явления стали слишком уж привычными и обыденными. Притом у нас даже не было ощущения, что мы рассорились с «Гранд-отелем». Дети по-прежнему дружили с персоналом, коридорный чинил им игрушки, и время от времени мы пили чай в саду гостиницы, иногда лицезрея там княгиню, которая, с чуть тронутыми коралловой помадой губками, грациозно-твердым шагом появлялась, чтобы взглянуть на своих вверенных англичанке дорогих крошек, и не догадывалась о нашей опасной близости, так как нашему малышу при ее появлении строго-на-строго запрещалось даже откашливаться.

Надо ли говорить, что стояла ужасная жара? Жара была поистине африканской: свирепая тирания солнца, стоило лишь оторваться от кромки синей, цвета индиго, прохлады, была до того неумолимой, что сама мысль о необходимости даже в одной пижаме пройти несколько шагов от пляжа к обеденному столу вызывала вздох. Выносите ли вы жару? Особенно, когда она стоит неделями? Конечно, это юг и, так сказать, классическая для юга погода, климат, послуживший расцвету человеческой культуры, солнце Гомера и прочее и прочее. Но спустя некоторое время, помимо воли, я уже склоняюсь к тому, чтобы считать этот климат отупляющим.

День за днем все та же раскаленная пустота неба вскоре начинает меня угнетать, яркость красок, чрезмерно прямой и бесхитростный свет, хоть и будят праздничное настроение, вселяют беззаботность и уверенность в своей независимости от капризов и изменчивости погоды, однако, пусть вначале не отдаешь себе в том отчета, иссушают, оставляют неудовлетворенными более глубокие и непростые запросы нордической души, а со временем внушают даже нечто вроде презрения. Вы правы, не случись этой глупой историйки с коклюшем, я, наверное, воспринял бы все иначе: я был раздражен, возможно, я желал все именно так воспринять и полубессознательно подхватил готовый штамп, если не для того, чтобы вызвать у себя такое восприятие окружающего, то хотя бы чтобы как-то его оправдать и подкрепить. Но даже если допустить с нашей стороны злую волю — в том, что касается моря, утренних часов, проведенных на песке перед его неизменным величием, ни о чем подобном не может быть и речи; и все-таки, вопреки всему нашему прошлому опыту, мы и на пляже не чувствовали себя легко и радостно.

Да, мы приехали слишком, слишком рано: пляж, как уже сказано, все еще был во власти местного среднего класса — несомненно, отрадная разновидность людей, вы и тут правы, среди молодежи можно было встретить и высокие душевные качества, и физическую красоту, но, как правило, нас окружала человеческая посредственность и мещанская безличность, которые, вы не станете отрицать, отштампованные в здешнем поясе, ничуть не привлекательнее тех экземпляров, что существуют под нашим небом. Ну и голоса у этих женщин! Порой просто не верилось, что мы в Италии — колыбели всего западноевропейского вокального искусства. «Fuggiéro!»

И по сей день у меня в ушах стоит этот крик, недаром двадцать дней кряду он беспрестанно раздавался в непосредственном соседстве от меня, беззастенчиво хриплый, ужасающе акцентуемый, с пронзительно растянутым «е», исторгаемый каким-то ставшим уже привычным отчаянием: «Fuggiéro! Rispondi alméno!»* Причем «sp» произносилось очень вульгарно, как «ши», что само по себе раздражает, особенно если ты и без того в дурном настроении. Крик этот адресовался мерзкому мальчишке с тошнотворной язвой от солнечного ожога между лопатками, упрямством, озорством и злобностью превосходившему все, с чем мне когда-либо приходилооо встречаться; к тому же он оказался страшным трусом, не постеснявшимся, из-за возмутительного своего слабодушия, всполошить весь пляж. Как-то раз его в воде ущипнул за ногу краб, но изданный им по столь ничтожному поводу на манер героев античности горестный вопль был поистине душераздирающим, и все решили, что произошло несчастье. Очевидно, он считал себя тяжело раненным. Ползком выбравшись на берег, он в невыносимых, казалось, муках катался по песку, орал «ohi!» и «oimé!», бил руками и ногами,

* Фуджеро! Отзовись! (ит.)

отвергая заклинания матери и уговоры окруживших его близких и знакомых. Со всех сторон сбежались люди. Привели врача, того самого, что так здраво разобрался в нашем коклюше, и опять подтвердилось его научное беспристрастие. Добродушно утешая пострадавшего, он заявил, что это сущие пустяки, и просто порекомендовал своему пациенту продолжить купанье, чтобы охладить ссадинку от крабьих клешней. Вместо того Фуджеро, словно сорвавшегося, со скалы или утопленника, уложили на импровизированные носилки и, в сопровождении толпы народа, унесли с пляжа — что не помешало ему на следующее же утро вновь там появиться и по-прежнему, будто нечаянно, разрушать песочные крепости других ребяташек. Словом, ужас что такое!

Вдобавок этот двенадцатилетний паршивец был одним из главных выразителей определенного умонастроения, которое, почти неуловимо витая в воздухе, омрачило и испортило нам приятный отдых у моря. Почему-то здешней атмосфере недоставало простоты и непринужденности; местная публика «себя блюла», поначалу даже трудно было определить, в каком смысле и духе, она считала своим долгом пыжиться, выставляла напоказ друг перед другом и перед иностранцами свою серьезность и добропорядочность, особую требовательность в вопросах чести — что бы это значило? Но скоро нам стала ясна политическая подоплека — тут замешана была идея нации. В самом деле, пляж кишел юными патриотами — противоестественное и удручающее зрелище. Дети ведь составляют как бы особый человеческий род, так сказать, собственную нацию; всюду в мире они легко и просто сходятся в силу одинакового образа жизни, даже если их малый запас слов принадлежит к разным языкам. И наши малыши очень скоро стали играть со здешними, как, впрочем, и с детьми иностранцев. Но их постигло одно непонятное разочарование за другим. То и дело возникали обиды, заявляло о себе самолюбие, слишком болезненное и напористое, чтобы быть принятым всерьез; вспыхивали распри между флагами, споры о месте и первенстве; взрослые вмешивались, не столько примиряя, сколько пресекая споры и оберегая устои, гремели фразы о величии и чести Италии, фразы совсем не забавные и портящие всякую игру; мы видели, что оба наши малыша отходят озадаченные и растерянные, и старались, как могли, объяснить им положение вещей: этих людей, говорили мы им, лихорадит, они переживают такое состояние, ну, что-то вроде болезни, не очень приятное, но, видимо, неизбежное.

Нам оставалось только пенять на себя и собственную беззаботность; если дело у нас дошло до конфликта с этим, хоть и понятным и принятым нами в расчет, состоянием, — еще одного конфликта; похоже, что предыдущие тоже не были целиком чистой случайностью. Коротче говоря, мы оскорбили нравственность. Наша дочурка — ей восемь лет, но по физическому развитию ей и семи не дашь, такая это худышка, — вдоволь накупавшись и, как это водится в жаркую погоду, продолжив прерванную игру на пляже в мокром костюмчике, получила от нас разрешение прополоскаться в море купальник, на котором налипла толстая корка песка, с тем чтобы потом надеть его и уже больше не пачкать. Голенькая, она бежит какие-то несколько метров к воде, окунает костюмчик и возвращается обратно.

Могли ли мы предвидеть ту волну злобы, возмущения, протеста, которую вызвал ее, а стало быть, наш поступок? Я не собираюсь читать вам лекцию, но всюду в мире отношение к человеческому телу и к его наготы за последние десятилетия коренным образом изменилось, воздействовал и на наши чувства. Есть вещи, на которые просто «не обращают внимания», и к ним относилась свобода, предоставленная этому детскому, никаких эмоций не вызывающему тельцу. Но здесь-это было воспринято как вызов. Юные патриоты заулюлюкали. Фуджеро, заложив пальцы в рот, свистнул. Возбужденные разговоры взрослых по соседству с нами становились все громче и не предвещали ничего доброго. Господин во фраке и в сдвинутом на затылок, мало подходящем для пляжа котелке заверяет свою скандализованную даму, что так этого не оставит; он вырастает перед нами, и на нас обрушивается филиппика, в которой весь пафос темпераментного юга поставлен на службу самым чопорным требованиям приличий. Забвение стыда, в коем мы повинны, — так было нам заявлено, — тем

более предосудительно, что оно является, по сути, неблагодарностью и оскорбительным злоупотреблением гостеприимством Италии. Нами преступно попораны не только дух и буква правил общественного купания, но также честь его страны, и, защищая эту честь, он, господин во фраке, позаботится о том, чтобы такое посягательство на национальное достоинство не осталось безнаказанным.

Слушая это словоизвержение, мы скрепя сердце только глубокомысленно кивали. Возражать разгоряченному господину значило бы лишь совершить новую оплошность. Многое вертелось у нас на языке, например, что не все обстоит здесь настолько благополучно, чтобы считать вполне уместным слово «гостеприимство» в подлинном его значении, и что мы, если говорить без прикрас, гости не столько Италии, сколько синьоры Анджольери, в свое время сменившей род занятий — из доверенной Дузе сделавшейся содержательницей пансиона. Не терпелось нам также возразить, что мы не представляли себе, как низко пала нравственность в этой прекрасной стране, если потребовался возврат к подобным ханжеским строгостям. Однако мы ограничились заверениями, что и в мыслях не имели вести себя вызывающе или непочтительно, и в качестве извинения ссылались на юный возраст и физическую неразвитость малолетней правонарушительницы. Все напрасно. Наши заверения были отвергнуты как неправдоподобные, наши доводы объявлены несостоятельными, и нас решили, чтобы и другим было неповадно, проучить. Вероятно, по телефону сообщили в полицию, на пляже появился представитель власти, назвавший происшествие весьма серьезным, «molto grave», и предложивший нам следовать за ним на «площадь», в муниципалитет, где более высокий чин подтвердил предварительный вердикт «molto grave» и, употребляя те же самые, что и господин в котелке, по-видимому, принятые здесь дидактические выражения, разразился длиннейшей тирадой по поводу нашего преступления и в наказание наложил на нас штраф в пятьдесят лир. Мы сочли наше приключение достойным такого жертвования в государственную казну, заплатили и ушли. Может быть, нам следовало бы тут же уехать?

Зачем мы так не поступили? Мы избежали бы тогда встречи с роковым Чиполлой; однако слишком многое сошлось, чтобы заставить нас тянуть с отъездом. Кто-то из поэтов сказал, что единственно лень удерживает нас в неприятной обстановке — можно было бы привлечь это остроумное замечание для объяснения нашего упорства. К тому же после таких стычек не очень-то охотно покидаешь поле боя; не хочешь признаваться, что оскандалился, особенно если выражения сочувствия со стороны укрепляют твой боевой дух. В вилле «Элеонора» не существовало двух мнений относительно причиненной нам несправедливости. Итальянские знакомые, наши послеобеденные собеседники, считали, что история эта никак не способствует доброй славе страны, и собирались, на правах соотечественников, потребовать от господина во фраке объяснения. Но тот уже на следующий день скрылся с пляжа, вместе со всей своей компанией — не из-за нас, разумеется, однако не исключено, что именно сознание предстоящего отъезда придало ему отваги, так или иначе, его исчезновение было для нас большим облегчением. А если говорить начистоту — мы остались еще и оттого, что в здешней обстановке было что-то необычное, а необычное само по себе представляет ценность, независимо от того, приятно оно или неприятно. Надо ли капитулировать и уходить от переживаний, если они не обещают вам радости или удовольствия? Надо ли «уезжать», когда жизнь становится тревожной и не совсем безопасной или же несколько тяжелой и огорчительной? Нет, надо остаться, надо все увидеть и все испытать, тут-то и можно кое-чему научиться. Итак, мы остались и, как страшную награду за нашу стойкость, пережили впечатляюще злополучное выступление Чиполлы.

Я не упомянул, что, примерно ко времени учиненного над нами административного произвола, наступил конец сезона. Донесший на нас блюститель нравственности в котелке был не единственным приезжим, покинувшим курорт; итальянцы уезжали толпами, и множество ручных тележек с багажом потянулось к станции. Пляж утратил свой сугубо национальный характер, жизнь в Торре, в кафе, на аллеях сосновой роши стала и более простой, и более ев-

ропейской; вероятно, теперь нас даже допустили бы на застекленную веранду «Гранд-отеля», но мы туда не стремились, мы чувствовали себя хорошо и за столом синьоры Анджольери — если вообще мыслимо было считать наше самочувствие хорошим, с той поправкой, которую вносил в него витавший здесь злой дух. Однако вместе с такой благотворной, на наш взгляд, переменной, резко изменилась погода, показав себя в полном согласии с графиком отпусков. Небо заволокло, нельзя сказать чтобы стало прохладней, по откровенной зной, царивший эти три недели и скорее всего, еще задолго до нашего приезда), сменился томящей духотой сирокко, и время от времени слабый дождичек кропил бархатистую арену, на которой мы проводили наши утра. К тому же надо заметить что две трети срока, выделенного нами на Торро, уже истекло; сонное, выцветшее море с чуть колышущимися на его плоской глади вялыми медузами как-никак было нам внове, и смешно было бы тосковать по солнцу; которое, когда оно безраздельно властвовало, исторгало у нас столько вздохов.

К этому-то времени и появился Чиполла. Кавалере Чиполла, как он именовался в афишах, которые в один прекрасный день запестрели, повсюду, в том числе и в столовой пансиона «Элеонора», — гастрوليрующий виртуоз, артист развлекательного жанра, Forzatore, Illusionista и Prestidigitatore* (так он себя представлял), намеревающийся познакомить высокоуважаемую публику Торре-ди-Венере с некоторыми из ряда вон выходящими явлениями таинственного и загадочного свойства. Фокусник! Объявления оказалось достаточно, чтобы вскружить голову нашим малышам.

Они еще никогда не видели ничего подобного, каникулы подарят им неизведанные ощущения. С этого времени они доносили нас просьбами взять билеты на фокусника, и хотя нас сразу смутил поздний час начала представления — оно было назначено на девять вечера, — мы уступили, решив, что после некоторого знакомства со скромными, по всей вероятности, талантами Чиполлы отправимся домой, а дети на следующее утро поспят подольше, и приобрели у самой синьоры Анджольери, взявшей на комиссию достаточное количество хороших мест для своих постояльцев, четыре билета. Поручиться за качество исполнения она не бралась, да мы и не ждали ничего особенного; но нам самим не мешало немного рассеяться, а кроме того, нас заразило неотступное любопытство детей.

В помещении, где кавалере предстояло выступить, в разгар сезона демонстрировали сменявшиеся каждую неделю кинофильмы. Мы там ни разу не были. Путь туда лежал мимо «Palazzo» — развалин, сохранивших контуры средневекового замка и, кстати говоря, продававшихся, — по главной улице, с аптекой, парикмахерской, лавками, которая как бы вела от мира феодального через буржуазный к миру труда, так как заканчивалась она среди убогих рыбацких лачуг, где старухи, сидя у порога, чинили сети, и здесь-то, уже в самой гуще народа, находилась «Sala», по существу, вместительный дощатый сарай; его, похожий на ворота, вход с двух сторон украшали красочные плакаты, наклеенные один поверх другого. Итак, в назначенный день, пообедав и не спеша собравшись, мы отправились туда уже в полной темноте, дети в праздничном платье, счастливые, что им делается столько поблажек. Как и все последние дни, было душно, изредка вспыхивали зарницы и накрапывал дождь. Мы шли, укрывшись зонтами. Ходу до зала было всего четверть часа.

У двери проверили наши билеты, но предоставили нам самим отыскивать свои места. Они оказались в третьем ряду слева; усевшись, мы обнаружили, что с достаточно поздним временем, на которое было назначено начало представления, не очень-то считаются: курортная публика лениво, словно намеренно желая прийти с опозданием, заполняла партер, которым, собственно, поскольку лож тут не было, и ограничивался зрительный зал.

Такая неторопливость нас несколько встревожила. Уже сейчас на щеках детей от ожидания и усталости горел лихорадочный румянец. Лишь отведенные под стоячие места боковые проходы и конец зала при нашем появлении были битком набиты. Там стояли, скрестив голые по локоть руки на полосатых тельняшках, представители мужской половины коренного

* Заклинатель, иллюзионист и фокусник (ит.)

населения Торре: рыбаки, задорно озирающиеся молодые парни, и если нас обрадовало присутствие в зале местного трудового люда, который один только способен придать подобного рода зрелищам красочность и юмор, то дети были просто в восторге. У них были друзья среди местных жителей, они заводили знакомства во время вечерних прогулок на дальние пляжи. Часто, когда солнце, устав от титанического своего труда, погружалось в море, окрашивая накатывающую пену прибоя золотистым багрянцем, мы по пути домой встречали артели босоногих рыбаков; гуськом, упираясь ногами и напруживая руки, они с протяжными возгласами вытаскивали сети и собирали свой, по большей части скудный, улов *frutti di mare** в мокрые корзины, а наши малыши глядели на них во все глаза, пускали в ход те несколько итальянских слов, которые они знали, помогали тянуть сети, завязывали с ними дружбу. И сейчас дети обменивались приветствиями со зрителями стоячих мест, вон там стоит Гискардо, вон там Антонио, они знали их по именам и, маша рукой, вполголоса окликали, получая в ответ кивок или улыбку, обнажавшую ряд крепких белых зубов.

Смотри-ка, пришел даже Марио из «Эсквизито», Марио, который подает нам к столу шоколад! Ему тоже захотелось посмотреть фокусника, и, должно быть, он пришел снозаранок, он стоит почти спереди, но и виду не подает, что заметил нас, уж такая у него манера, даром что только младший официант. Зато мы машем лодочнику, выдающему напрокат байдарки на пляже, и он там стоит, но позади, у самой стенки.

Четверть десятого... почти половина... Вы понимаете наше беспокойство? Когда же мы уложим детей спать? Конечно, не следовало приводить их сюда, ведь оторвать их от обещанного представления, едва только оно начнется, будет попросту жестоко. Постепенно партер заполнился; можно сказать, тут собрался весь Торро; постояльцы «Гранд-отеля», постояльцы виллы «Элернора» и других пансионеров, все знакомые по пляжу лица.

Вокруг слышалась английская и немецкая речи. Слышался и тот французский, на котором румыны обычно разговаривают с итальянцами. За нами, через два ряда, сидела сама мадам Анджольери возле своего тихого и лысого супруга, поглаживающего себе усы указательным и средним пальцами правой руки. Все пришли с опозданием, однако же никто не опоздал: Чиполли заставлял себя ждать.

Именно заставлял себя ждать, в самом прямом смысле. Оттягивая свой выход, он умеренно усиливал напряжение. Можно было понять этот его прием, но всему есть границы. Около половины десятого публика начала хлопать — вежливая форма выразить законное нетерпение, ибо она заодно выражает готовность аплодировать. Наши малыши все ладошки себе поотбивали, это составляло для них уже как бы часть программы. Все дети любят аплодировать. С боковых проходов и из глубины зала раздавались решительные возгласы: «Pronti!» и «Cominciamo!»**. И что же, выходит, начать представление возможно, ничто этому не препятствует. Прозвучал удар гонга, встреченный со стоячих мест многоголосым «А-а!», и занавес раздвинулся. Открылся помост, убранством своим скорее напоминавший классную комнату, нежели арену фокусника; это впечатление создавала черная аспидная доска, установленная на подставке на авансцене слева.

Кроме того, мы увидели самую обыкновенную желтую вешалку, два крестьянских соломенных стула и в глубине круглый столик, на котором стоял графин с водой и стакан, а на особом подносике графинчик поменьше, наполненный какой-то светло-желтой жидкостью, и ликерная рюмка.

Нам были даны две секунды, чтобы хорошенько рассмотреть этот реквизит.

Затем, при незатемненном зрительном зале, кавальере Чиполла появился на эстраде.

Он вошел той стремительной походкой, которая говорит о желании угодить публике и вызывает обманчивое представление, будто вошедший, торопясь предстать перед глазами зрителей, проделал тем же шагом немалый путь, тогда как на самом деле он просто стоял за кулисами. Одевание Чиполлы подкрепляло впечатление его прихода прямо с улицы. Неоп-

* Плодов моря (ит); здесь имеются в виду мелкие морские животные: устрицы, креветки и др.

** Живее! (ит.) Начнем! (ит.)

ределенного возраста, но, во всяком случае, человек далеко не молодой, с резкими чертами испитого лица, пронзительными глазками, плотно сжатыми тонкими губами, нафабранными черными усиками и так называемой мушкой в углублении между нижней губой и подбородком, он нарядился в какую-то замысловатую верхнюю одежду. На нем был широкий черный плащ без рукавов с бархатным воротником и подбитой атласом пелериной — фокусник придерживал его спереди руками в белых перчатках, — на шее белый шарф, а на голове надвинутый на одну бровь изогнутый цилиндр. Вероятно, в Италии, более чем где бы то ни было, жив еще восемнадцатый век, а с ним и тип шарлатана, ярмарочного зазывалы — продавца снадобий, который столь характерен для той эпохи и относительно хорошо сохранившиеся экземпляры которого только в Италии и можно встретить. В облике Чиполлы было много от этой исторической фигуры, а впечатление шутовской крикливости и эксцентризма, которые составляют ее неотъемлемую принадлежность, достигалось уже тем, что претенциозная одежда фокусника очень странно на нем сидела или, вернее, висела, где прилегая не на месте, где падая неправильными складками: что-то было неладно с его фигурой, неладно и спереди и сзади — позже это стало еще заметнее. Но я должен подчеркнуть, что ни о какой шутовской, а тем более клоунаде, ни в его движениях, ни в мимике, ни в манере держаться не могло быть и речи: скорее напротив, в них выражались предельная серьезность, отказ от всякого юмора, порой даже мрачноватая гордость, а также некоторые, свойственные калекам, важность и самодовольство, — все это, однако, не препятствовало тому, что поведение его поначалу вызывало в разных местах зала смех.

Теперь в его манере держаться уже не было ни малейшей угодливости; стремительный выход оказался всего лишь выражением внутренней энергии, в которой подобострастие не играло никакой роли. Стоя у рампы и небрежно стягивая перчатки с длинных желтоватых пальцев — на одном оказался перстень с большой выпуклой печаткой из ляпис-лазури, — он маленькими строгими глазками с припухшими под ними мешочками озирает зал, неторопливо, то тут, то там испытующе-высокомерно задерживаясь на чем-нибудь лице — и все это язвительно сжав губы и не говоря ни слова. Свернутые в клубок перчатки он с удивительной и, несомненно, привычной ловкостью кинул с большого расстояния в стоявший на круглом столике стакан, затем, все так же молча оглядывая зал, достал из какого-то внутреннего кармана пачку сигарет, судя по обертке самых дешевых, бережно вытащил одну и, не глядя, прикурил от мгновенно вспыхнувшей зажигалки. Глубоко затянувшись, он с вызывающей гримасой, широко раздвинув губы и тихонько постукивая носком башмака об пол, выпустил серую струйку дыма между гнилушек съеденных зубов.

Публика разглядывала его не менее пристально, чем он ее. У молодых людей в боковых проходах брови были нахмурены, и придирчиво сверлящий взгляд только и ждал промаха, который этот самоуверенный фигляр не преминет допустить. Но промаха не было. Доставка пачки сигарет и зажигалки и последующее водворение их на место представляло известную сложность из-за одежды фокусника: ему пришлось откинуть плащ и тут обнаружилось, что на кожаной петле, накинутой на левую руку, у него почему-то висит хлыст с серебряной рукояткой в виде когтистой лапы. Затем обратили внимание на то, что он в сюртуке, а не во фраке, и так как Чиполла распахнул и сюртук, стала видна повязанная вокруг его торса, наполовину скрытая жилетом, широкая разноцветная лента, которую зрители, сидевшие за нами и вполголоса обменивавшиеся впечатлениями, сочли знаком его кавальерского достоинства. Так ли это, не знаю, поскольку никогда не слышал, чтобы титулу кавальере соответствовал подобный знак отличия. Возможно, лента была чистейшим блефом, так же как и безмолвная неподвижность фигляра, который продолжал на глазах у публики со значительным и бесстрастным видом курить сигарету.

Как я уже упоминал, в зале смеялись, а когда голос с партерной «галерки» вдруг громко и отчетливо-сухо произнес «Buona sera!»*, раздался дружный взрыв смеха.

* Добрый вечер! (ит.)

Чиполла встrepенулся.

— Кто это? — спросил он, словно кидаясь в атаку. — Кто это сказал? Ну-ка? Сначала таким смельчаком, а потом в кусты? *Pauga eh?**

Голос у фокусника был довольно высокий, несколько астматический, но с металлом. Он ждал.

— Это я, — произнес в наступившей тишине, усмотрев в словах Чиполлы вызов и посягательство на свою честь, стоящий неподалеку от нас молодой человек — красивый малый в ситцевой рубашке, с переброшенным через плечо пиджаком. Его черные жесткие и курчавые волосы были по принятой в «пробудившейся Италии» моде зачесаны кверху и стояли дыбом, что несколько его безобразило и придавало ему что-то африканское. — *Vé...*** Ну, я сказал. Вообще-то поздороваться следовало бы вам, но я на это не посмотрел.

Веселье возобновилось. Парень за словом в карман не лез «*Na sciolto lo scilinguagnolo*»***, — заметил кто-то рядом с нами. Урок вежливости, если на то пошло, был здесь вполне уместен.

— Bravo! — ответил Чиполла. — Ты мне нравишься, Джованотто. Поверишь ли, я тебя давно приметил? У меня особая симпатия к таким людям, как ты, они могут мне пригодиться. Видать, ты молодец что надо.

Делаешь что хочешь. Или тебе уже случалось не делать того, что хочется?

Или даже делать то, чего не хочется? То, чего не тебе хочется? Послушай, дружок, а ведь, должно быть, иногда приятно и весело отказаться от роли молодца, берущего на себя и одно и другое, и хотение и деланье. Ввести наконец какое-то разделение труда — *sistema americano*, *sa*****? Вот, к примеру, не хочешь ли ты показать собравшейся здесь высокоуважаемой публике язык, весь язык до самого корня?

— Нет, — враждебно отрезал парень, — не хочу. Это доказало бы, что я дурно воспитан.

— Ничего не доказало бы, — ответил Чиполла, — потому что ты сделаешь это помимо твоего хотения. Пусть ты хорошо воспитан, но сейчас, прежде чем я посчитаю до трех, ты повернешься направо к публике и высунешь язык, да еще такой длинный, какого ты у себя и не предполагал.

Чиполла посмотрел на парня, пронзительные глазки его, казалось, еще глубже ушли в орбиты.

— Uno! — проговорил он и, спустив с локтя петлю хлыста, со свистом рассек им воздух.

Парень повернулся к публике и высунул такой напряженный и длинный язык, что не оставалось сомнений — длиннее этого ему уже не высунуть. Затем с ничего не выражающим лицом вернулся в прежнее положение.

— «Это я...» — передразнил Чиполла, подмигивая и кивая на парня. — «*Vé...* Ну, я сказал». — После чего, предоставив публике самой разбираться в своих впечатлениях, подошел к столику, налил себе из графинчика, в котором, очевидно, был коньяк, полную рюмку и привычным жестом опрокинул в рот.

Дети от души смеялись. Они мало что поняли из этой перепалки; но то, что между чудным человеком там наверху и кем-то из публики сразу разыгралась такая потешная сцена, их чрезвычайно позабавило, и так как они не очень представляли себе, в чем должна состоять программа обещанного афишей вечера, то готовы были считать подобное начало превосходным. Что касается нас, то мы обменялись взглядом, и, помнится, я невольно тихонько повторил губами звук, с которым хлыст Чиполлы рассек воздух. Впрочем, было ясно, что зрители не знали, как отнестись к такому ни с чем не сообразному началу представления

* Испугался, а? (ит.)

** Ну... (ит.)

*** Он за словом в карман не лезет (ит.)

**** Американская система, не так ли? (ит.)

фокусника, и толком не поняли, что же вдруг заставило Джованотто, который, так сказать, выступал от их лица, обратить свой задор против них, против публики. Что за мальчишество! И, выбросив его из головы, зрители сосредоточили все свое внимание на артисте, который тем временем от столика с подкрепительным вернулся на авансцену и обратился к ним со следующей речью.

— Уважаемые дамы и господа, — произнес он своим астматически-металлическим голосом. — Вы сейчас видели, что меня несколько задел за живое урок, который пытался мне преподать этот подающий надежды молодой языковед («questo linguista di belle speranze» — каламбур вызвал смех). Я человек не лишенный самолюбия, и с этим вам придется считаться! Я не люблю, когда мне без должной серьезности и почтительности желают доброго вечера — да и поступать иначе нет смысла. Желая мне доброго вечера, вы тем самым желаете того же и себе, поскольку публика лишь в том случае хорошо проведет вечер, если он будет хорош у меня, а потому этот кумир всех девиц Торре-ди-Венере (он все продолжал язвить парня) прекрасно поступил, представив наглядное доказательство тому, что вечер сегодня у меня будет хороший и я, таким образом, могу обойтись без его пожеланий. Смею похвалиться, почти все вечера у меня бывают хорошие. Случается, что выпадет и менее удачный, но редко. Профессия у меня тяжелая, и здоровье не слишком крепкое — небольшой телесный изъян, помешавший мне принять участие в борьбе за величие нашей родины. Единственно силой разума и духа одолеваю я жизнь, что опять же прежде всего значит: одолеть себя, и льщусь надеждой, что работой своей заслужил благосклонное внимание просвещенной публики. Столичная пресса оценила мою работу, «Corriere della Sera»* воздал, мне должное, назвав феноменом, а в Риме родной брат дуче оказал мне честь самолично присутствовать на представлении. И если в столь блестящих и высоких сферах Рима благоволили закрывать глаза на некоторые мои привычки, я не почел нужным от них отказываться в сравнительно менее значительном городе, каким все же является Торре-ди-Венере (тут публика посмеялась над жалким маленьким Торре), и терпеть, чтобы личности, хотя бы и избалованные вниманием прекрасного пола, что-то мне указывали.

Опять досталось парню, которого Чиполла не переставал выставлять в роли donnaiuolo** и доморощенного донжуана, причем упорное раздражение и враждебность, с какими фокусник вновь и вновь на него напускался, никак не вязались с самоуверенностью кавальере и светскими успехами, которыми он похвалялся. Конечно, парень должен был служить мишенью для остроумия Чиполлы, мишенью, которую тот каждое представление избирал себе из публики и на чей счет прохаживался. Однако в его колкостях звучало и подлинное озлобление, подоплека которого становилась по-человечески понятной при одном взгляде на физическое сложение того и другого, даже если бы горбун постоянно не намекал на верный успех красивого парня у женщин.

— Но прежде чем начать представление, — добавил он, — я, с вашего разрешения; освобожусь от плаща!

И он направился к вешалке.

— Parla benissimo***, — восхитился кто-то по соседству с нами.

Артист еще ничем не показал своего искусства, но его умение говорить само по себе было признано искусством, он произвел впечатление уже одним своим красноречием. У южан живая речь составляет одну из неотъемлемых радостей жизни, и ей уделяют куда больше внимания, нежели где-либо на севере. Национальное средство общения, родной язык окружен у этих народов достойным подражания почетом, и есть нечто забавное и неподражаемое в том придиричиво страстном почтении, с каким следят за соблюдением его форм и законов произношения. Здесь и говорят с удовольствием и слушают с удовольствием, но слушают как строгие ценители. Ибо по тому, как человек говорит, определяют его место в обществе; неряшливая,

* «Вечерний вестник» (ит.)

** Волокиты (ит.)

*** Превосходно говорит (ит.)

корявая речь вызывает презрение, изящная и отточенная — создает престиж, и потому маленький человек, если ему важно произвести выгодное впечатление, старается употреблять изысканные обороты и следит за своим произношением. По крайней мере, с этой стороны Чиполла явно расположил к себе публику, хотя и не относился к разряду людей, которые итальянцу, с присущим ему смешением моральных и эстетических мерил, кажутся *sympatico**.

Сняв шелковый цилиндр, шарф и плащ, Чиполла, на ходу одергивая сюртук, вытягивая манжеты с крупными запонками и поправляя бутафорскую ленту, возвратился на авансцену. Шевелюра у него была безобразная: собственно, почти голый череп, лишь узкая нафабренная полоска волос, разделенная прямым пробором, тянулась, будто наклеенная, от затылка ко лбу, а волосы с висков, тоже нафабренные, были начесаны к уголкам глаз — прическа старомодного директора цирка, смехотворная, но идущая к его необычному, индивидуальному стилю и носимая с такой самоуверенностью, что, несмотря на ее комичность, публика в зале хранила сдержанное молчание. Небольшой телесный изъян, о котором Чиполла намеренно заранее упомянул, был теперь на виду, хотя по природе своей не совсем ясен: грудная клетка, как всегда в таких случаях, была смещена кверху, но горб на спине торчал не на обычном месте, между лопатками, а ниже, над бедрами и поясницей, не мешая ходьбе, но придавая ей что-то нелепо карикатурное, так как каждый шаг получался враскачку. Впрочем, поскольку Чиполла предупредил о своем уродстве, оно никого не поразило, и в зале к нему отнеслись с подобающей деликатностью.

— К вашим услугам! — сказал Чиполла. — Если вы не возражаете, мы начнем нашу программу с кое-каких арифметических упражнений.

Арифметика? Это, пожалуй, на фокусы не похоже. У меня уже начало закрадываться подозрение, что Чиполла что-то темнит, но кто он на самом деле, было еще неясно. Мне стало жаль детей; но пока что они были счастливы просто оттого, что сидят здесь.

Номер с числами, который Чиполла продемонстрировал, был столь же прост, сколь ошеломляюще эффектен по концовке. Чиполла начал с того, что прикрепил кнопками лист бумаги в правом верхнем углу доски и, приподняв лист, написал что-то мелом на доске. При этом он без умолку болтал, стремясь, очевидно, непрерывным словесным сопровождением оживить помер, чтобы он не показался суховатым; по существу, фокусник одновременно выступал и в роли собственного конференсье, очень бойкого на язык и находчивого. Он все время старался уничтожить пропасть, существующую между эстрадой и зрительным залом, пропасть, через которую он уже перебросил мостки своей перепалкой с молодым рыбаком и с этой целью то приглашал на сцену кого-нибудь из публики, то сам по деревянной лесенке спускался вниз в партер, чтобы вступить в личное общение со зрителями. Все это составляло стиль его работы и очень нравилось детям. Не знаю, в какой мере входило в намерения и систему Чиполлы то, что он тут же, сохраняя, впрочем, полную серьезность и даже мрачность, пускался в пререкания с отдельными лицами — публика, во всяком случае публика попроще, видимо, считала это в порядке вещей.

Кончив писать и прикрыв написанное листом бумаги, он попросил двух человек подняться на эстраду, чтобы ассистировать при предстоящем подсчете: ничего трудного тут нет, даже тот, кто не очень силен в арифметике, вполне справится. Как обычно бывает, желающих не нашлось, а Чиполла не хотел утруждать привилегированную публику. Он держался народа и обратился к двум здоровенным дубоватым парням на стоячих местах в глубине зала, подбадривал их, стыдил, что они празднично стоят и глазуют, не желая сделать одолжение собравшимся, и в конце концов уговорил. Неуклюже шагая, парни двинулись вперед по проходу, поднялись по ступенькам и, смущенно ухмыляясь, под крики «браво» своих приятелей встали возле доски. Чиполла еще несколько секунд подшучивал над ними, восхваляя геркулесову мощь их конечностей, их огромные ручищи, прямо-таки созданные для того, чтобы оказать подобную услугу присутствующим, после чего сунул одному в руку грифель и велел просто-напросто

* Симпатичными (ит.)

записывать цифры, которые ему будут называть. Но парень заявил, что не умеет писать. «Non so scrivere», — пробасил он, а товарищ его добавил: «И я тоже».

Бог ведает, говорили они правду или просто решили посмеяться над Чиполлой. Во всяком случае, тот вовсе не склонен был разделять общей веселости, с какой встречено было это признание. На лице его выражались обида и отвращение. Чиполла сидел в эту минуту на соломенном стуле посреди сцены и, положив ногу на ногу, снова курил дешевую сигарету, которая ему, видно, особенно пришлась по вкусу, — пока оба увальня шли к эстраде, он успел пропустить вторую рюмочку коньяку. И снова, после глубокой затыжки, он струйкой выпустил дым через оскаленные зубы и, покачивая ногой, устремил исполненный сурового порицания взгляд поверх обоих беспечных негодников и поверх публики куда-то в пространство, как человек, столкнувшийся с чем-то настолько возмутительным, что он вынужден замкнуться в себе, в чувстве собственного достоинства.

— Позор, — произнес он наконец холодно и зло. — Ступайте в зал! В Италии все умеют писать, ее величие не оставляет места мраку и невежеству. Глупая шутка делать вслух такие заявления перед лицом собравшегося здесь иностранного общества, вы унижаете этим не только самих себя, но и правительство, даете повод злословить о нашей стране. Если Торре-ди-Венере действительно такой глухой угол нашего отечества, последний приют неграмотности, мне остается только пожалеть о своем приезде в этот город, о котором мне, правда, было известно, что он кое в чем уступает Риму...

Но здесь его прервал юноша с нубийской прической и переброшенным через плечо пиджаком, чей воинственный пыл, как выяснилось, угас лишь на время и который теперь с высоко поднятой головой рыцарски встал на защиту родного городка.

— Хватит! — громко сказал он. — Хватит шуток над Торрс. Мы все родились здесь и не потерпим, чтобы над нашим городом издевались в присутствии иностранцев. Да и эти двое — наши приятели. Они, конечно, не ученые профессора, но зато честные ребята, почестнее кое-кого здесь в зале, хвастающего Римом, хоть он его и не основал.

Вот это отповедь! Парень и вправду оказался зубастым. Публика не скучала, наблюдая за этой сценкой, хотя начало программы все оттягивалось. Спор всегда захватывает. Одних пререкания просто забавляют, и они не без злорадства наслаждаются тем, что сами остались в стороне; другие принимают все близко к сердцу и волнуются, и я их очень хорошо понимаю, хотя тогда у меня создалось впечатление, что тут какой-то сговор, и оба неграмотных увальня, так же как Джованотто со своим пиджаком, отчасти подыгрывают артисту, чтобы развеселить публику. Дети слушали развесив уши. Они ничего не понимали, но интонация до них доходила и держала их в напряжении. Так вот что такое фокусник, по крайней мере итальянский. Они были в полном восторге.

Чиполла встал и, раскачиваясь, сделал два шага к рампе.

— Смотри-ка! — произнес он с ядовитой сердечностью. — Старый знакомый. Юноша, у которого что на уме, то и на языке! (Он сказал «sulla linguaccia», что означает «обложенный язык» и вызвало взрыв смеха.) Ступайте друзья! — повернулся он к двум остолопам. — Я на вас нагляделся, сейчас у меня дело к этому поборнику чести, con questo torregiano di Venere, этому стражу башни Венеры, несомненно предвкушающему сладостную награду за свою преданность.

— Ah, non scherziamo!* Поговорим серьезно! — воскликнул парень, глаза его сверкнули, и он даже сделал такое движение, словно хотел сбросить пиджак и от слов перейти к делу.

Чиполла отнесся к этому довольно спокойно. В отличие от нас, обменявшихся тревожным взглядом, кавалере имел дело с соотечественником, чувствовал под ногами родную почву. Он остался холоден, выказав полное свое превосходство. Насмешливым кивком в сторону молодого петушка, сопровождаемым красноречивым взглядом, он призвал публику посмеять-

* Ah, довольно шутить! (ит.)

ся вместе с ним над драчливостью своего противника, свидетельствующей о его простодушной ограниченности. И тут опять произошло нечто поразительное, осветившее это превосходство жутковатым светом и самым постыдным и непонятым образом обратившее воинственное напряжение всей сцены во что-то смехотворное.

Чиполла еще ближе подошел к парню и как-то по-особенному посмотрел ему в глаза. Фокусник даже наполовину сошел с лесенки, которая слева от нас вела в зал, так что стоял лишь чуть повыше и почти вплотную перед воякой. Хлыст висел у него на руке.

— Итак, ты не расположен шутить, сынок, — сказал он. — Да это и понятно, ведь каждому видно, что ты нездоров. И давеча язык у тебя, прямо скажем, не очень-то чистый, — указывал на острое расстройство желудка. Не следует ходить на представления, когда себя так плохо чувствуешь; ты и сам, я знаю, колебался, думал, не лучше ли лечь в постель и сделать себе согревающий компресс на живот. Непростительное легкомыслие было пить после обеда столько белого вина — добро бы хорошего, а то такую кислятину. И вот теперь у тебя колики, и ты готов корчиться от боли. А ты не стесняйся! Дай волю своему телу, согнись, это всегда приносит облегчение при кишечных спазмах.

Пока Чиполла дословно произносил эту речь со спокойной настойчивостью и своего рода суровым участием, глаза его, впившиеся в глаза молодого парня, словно бы сделались сухими и горячими поверх слезных мешочков, — то были совсем необычные глаза, и становилось понятно, что его противник не только из мужского самолюбия не мог ответить от них взгляд. Да и вообще на смуглом лице Джованотто скоро не осталось и следа прежней самонадеянности. Он смотрел на кавальере, приоткрыв рот, и рот этот кривился в смущенной и жалкой улыбке.

— Дай себе волю, согнись! — вновь повторил Чиполла. — Ничего другого тебе не остается! При таких резах всегда корчатся. Не станешь же ты противиться естественному движению только потому, что тебе это советуют.

Парень медленно поднял руки и еще до того, как крест-накрест обхватил ими живот, стал сгибаться, поворачивая корпус и наклоняясь вперед все ниже и ниже, пока наконец, со сдвинутыми коленями, расставив пятки, почти что не сел на корточки, живая картина скрючивающей боли, Чиполла дал ему постоять в этой позе несколько секунд, потом щелкнул в воздухе хлыстом и враскачку направился к круглому столику, где опять выпил коньяку, *Il voit beaucoup**, — заметила сидящая за нами дама. Неужели это было единственное, что ее поразило? Нам все еще было неясно, насколько публика разобралась в происходящем. Парень уже выпрямился и стоял, смущенно улыбаясь, словно толком не знал, что с ним случилось. Все наблюдали эту сцену с живейшим интересом и теперь зааплодировали, крича то «Браво, Чиполла!», то «Браво, Джованотто!». По-видимому, зрители не восприняли исход спора как личное поражение парня и подбадривали его, словно актера, превосходно исполнившего доставшуюся ему роль смешного и жалкого персонажа. И в самом деле, он очень убедительно и даже слишком натурально, будто в расчете на галерку, корчился в коликах, выказав, так сказать, настоящее актерское дарование. Впрочем, я не уверен, чему следует приписать отношение зала — только ли чувству такта, в котором южане неизмеримо нас превосходят, или же подлинному проникновению в суть дела.

Подкрепившись, кавальере закурил новую, сигарету. Можно было опять приступить к арифметическому опыту. В заднем ряду без труда нашелся молодой человек, изъявивший желание записывать цифры, которые ему будут диктовать. Его мы тоже знали; здесь столько было знакомых лиц, что представление становилось каким-то даже домашним. Молодой человек служил в лавке, торгующей фруктами и колониальными товарами на главной улице, и неоднократно нас обслуживал очень вежливо и внимательно. Пока он с расторопностью приказчика орудовал мелком, Чиполла, спустившись к нам в партер, прохаживался раскорякой среди публики и, обращаясь то к одному, то к другому, просил назвать ему, по своему жела-

* Он много пьет (фр.)

нию, двух-, трех- или четырехзначную цифру, которую, едва она-слетала с губ опрошенного, повторял молодому бакалейщику, а тот записывал на доске столбиком. Все это с обоюдного согласия было рассчитано на развлекательность, шутку, ораторские отступления. Конечно, случалось, что артист натыкался на иностранцев, которые, не могли сладить с цифрами на чужом языке; с ними Чиполла долго, с подчеркнутой рыцарской галантностью, бился под сдержанные смешки местных жителей, которых он, в свою очередь, приводил в замешательство, заставляя переводить ему цифры, сказанные по-английски или французски. Некоторые называли цифры, указывающие на великие даты итальянской истории. Чиполла сразу же это улавливал и пользовался случаем, чтобы мимоходом пристегнуть какое-нибудь патриотическое рассуждение. Кто-то сказал «Ноль!», и кавалере, как всегда глубоко обиженный попыткой подшутить над ним, бросил через плечо, что это не двузначное число, на что другой остряк выкрикнул: «Два нуля!», вызвав всеобщее веселье, которое всегда вызывает у южан любой намек на естественную нужду. Один только кавалере держался высокомерно-осуждающе, хотя сам же и спровоцировал двусмысленность; однако, пожав плечами, он велел бакалейщику внести и эту цифру.

Когда на доске набралось около пятнадцати разнозначных чисел, Чиполла попросил зрителей произвести сложение. Искушенные в математических вычислениях пусть подсчитывают в уме прямо с доски, но никому не возбранялось пользоваться карандашом и записной книжкой. Пока все трудились, Чиполла сидел возле доски и, гримасничая, курил с присущей калекам самодовольно-заносчивой миной. Быстро подвели общий итог — пятизначное число. Кто-то назвал сумму, другой подтвердил, у третьего результат не совсем совпадал, у четвертого сходился. Чиполла встал, стряхнул пепел с сюртука, приподнял лист бумаги в правом верхнем углу доски, открыв то, что было им написано. Там стояла эта же сумма, что-то около миллиона. Он написал ее заранее.

Всеобщее изумление и гром аплодисментов. Дети даже рты разинули.

Как это он ухитрился, приставали они к нам. Не так легко объяснить этот трюк, отвечали мы, на то Чиполла и фокусник. Теперь они знали, что такое представление фокусника. Ну просто здорово: как у рыбака вдруг разболелся живот, а теперь заранее готовый итог на доске, — и мы уже с тревогой предвидели, что, несмотря на воспаленные глаза и позднее время, почти половину одиннадцатого, будет очень нелегко увести их отсюда. Без слез тут не обойдется. А между тем совершенно очевидно, что горбун не прибегает к каким-либо манипуляциям — в смысле ловкости рук, и все это совсем не для детей. Не знаю, что обо всем этом думала публика, но с выбором слагаемых «по своему желанию» дело было явно не чисто; конечно, не исключено, что тот или другой из опрошенных отвечал по своему выбору, но одно несомненно: Чиполла отбирал себе людей, и весь ход опыта, нацеленный на получение предreshенного итога, был подчинен его воле; однако же нельзя было не восхищаться его математическими способностями, хотя все остальное почему-то не вызывало восхищения. Вдобавок его ура-патриотизм и непомерное самомнение — соотечественники кавалере, может, и чувствовали себя в своей стихии и способны были еще шутить, но на человека со стороны все, вместе взятое, действовало удручающе.

Впрочем, Чиполла сам способствовал тому, чтобы у людей сколько-нибудь сведущих не оставалось сомнений относительно природы его искусства, хотя ни разу, конечно, не обронил ни одного термина и ничего своим именем не назвал. Однако же он говорил об этом — он все время говорил, — но в туманных, самонадеянных, выпячивающих его исключительность выражениях. Еще какое-то время он продолжал те же опыты, сначала усложняя получение итога привлечением других арифметических действий, а затем до крайности все упростил, чтобы показать, как это делается. Заставлял просто «угадывать» числа, которые перед тем записывал под листом бумаги на доске. Кто-то признался, что сперва хотел назвать другую цифру, но именно в этот миг перед ним просвистел в воздухе хлыст кавалере, и у него слетела с губ та самая, что оказалась написанной на доске. Чиполла беззвучно засмеялся одними плечами. Всякий раз он притворялся изумленным проникательностью опрошенного; но в компли-

ментах его сквозило что-то ироническое и оскорбительное, не думаю, чтобы они доставляли удовольствие испытуемым, хотя те и улыбались и не прочь были в какой-то мере приписать оvationи себе. Мне представляется также, что артист не пользовался расположением публики. В ее отношении к нему скорее ощущались скрытая неприязнь и непокорство; но, не говоря уже о простой учтивости, сдерживающей проявление подобных чувств, мастерство Чиполлы, его безграничная самоуверенность не могли не imponировать, и даже хлыст, по-моему, способствовал тому, чтобы бунт не прорвался наружу.

От опытов с цифрами Чиполла перешел к картам. Он извлек из кармана две колоды, и, помнится, суть эксперимента заключалась в том, что, взявши из одной колоды, не глядя, три карты и спрятав их во внутренний карман сюртука, Чиполла протягивал вторую кому-нибудь из зрителей с тем, чтобы тот вытащил именно эти же три карты, причем фокус не всегда полностью удавался; иногда только две карты сходились, но в большинстве случаев, раскрыв свои три карты, Чиполла торжествовал и легким поклоном благодарил публику за аплодисменты, которыми та, хотела она или нет, признавала его могущество. Молодой человек в переднем ряду справа от нас, итальянец с гордым точеным лицом, поднял руку и заявил, что решил выбирать исключительно по своей воле и сознательно противиться любому постороннему влиянию. Каков в таком случае будет исход опыта, по мнению Чиполлы?

— Вы лишь несколько утяжелите мне задачу, — ответил кавалюере. — Но, как бы вы ни сопротивлялись, результат будет тот же. Существует свобода, существует и воля; но свободы воли не существует, ибо воля, стремящаяся только к своей свободе, проваливается в пустоту. Вы вольны тянуть или не тянуть карты из колоды. Но если вытянете, то вытянете правильно, и тем вернее, чем больше будете упорствовать.

Нужно признать, что он не мог ничего лучше придумать, чтобы напустить туману и посеять смятение в душе молодого человека. Упрямец в нерешительности медлил протянуть руку к колоде. Вытащив одну карту, он тут же потребовал, чтобы ему для проверки предъявили спрятанные.

— Но зачем? — удивился Чиполла. — Не лучше ли уж все зараз?

Но так как строптивый молодой человек продолжал настаивать на такой предварительной пробе, фигляр, с неожиданной для него лакейской ужимкой, произнес «E servito!»* — и, не глядя, веером раскрыл свои три карты. Крайняя слева была той самой, что вытянул молодой человек.

Борец за свободу воли сердито уселся на место под аплодисменты зрителей. В какой мере Чиполла в помощь своему природному дару прибегал ко всяким механическим трюкам и ловкости рук — черт его знает. Но даже если предположить подобный сплав, все, кто с жадным любопытством следили за необыкновенным представлением, искренне наслаждались и признавали неоспоримое, мастерство артиста. «Lavora bone!»** — слышалось то тут, то там в непосредственной близости от нас, а это означало победу объективной справедливости над личной антипатией и молчаливым возмущением.

Вслед за последним, пусть частичным, но зато особенно впечатляющим успехом Чиполла первым делом снова подкрепился коньяком. Он и в самом деле «много пил», и смотреть на это было не очень приятно. Видимо, он нуждался в спиртном и табаке для поддержания и восстановления своих жизненных сил, к которым, как он сам намекнул, во многих отношениях предъявлялись большие требования. Временами он действительно выглядел из рук вон плохо — ввалившиеся глаза, осунувшееся лицо. А рюмочка вновь приводила все в норму, и речь у него после того опять текла, вперемешку с серыми струйками выдыхаемого дыма, живо и плавно.

Я хорошо помню, что от карточных фокусов он перешел к тем салонным играм, которые основываются на сверх или подсознательных свойствах человеческой природы — на

* К вашим услугам! (ит.)

** Чистая работа! (ит.)

интуиции и «магнетическом» внушении, — словом, на низшей форме ясновидения. Только внутреннюю связь и последовательность номеров я не запомнил. Да и не стану докучать вам описанием этих опытов, они известны всем: все хоть однажды участвовали в них в розысках какого-нибудь спрятанного предмета, послушном выполнении каких-либо наперед задуманных действий, импульс к которым необъяснимым путем передается от организма к организму. И каждый при этом, покачивая головой, бросал любопытно-брезгливые взгляды в двусмысленно-нечистоплотные и темные дебри оккультизма, который, по человеческой слабости его адептов, постоянно тяготеет к тому, чтобы, дурача людей, смешиваться с мистификацией и плутовством, однако подобная примесь отнюдь не опровергает подлинность других составных частей этой сомнительной амальгамы. Я хочу лишь отметить, что воздействие естественно возрастает и впечатления становятся глубже, когда такой вот Чиполла выступает в качестве режиссера и главного действующего лица этой темной игры. Он сидел спиной к публике в глубине эстрады и курил, пока где-то в зале втихомолку договаривались, придумывая ему задачу, и из рук в руки передавался предмет, который ему надо будет найти и с ним что-то проделать. Потом, держась за руку посвященного в задачу поводыря из публики, которому велено было идти чуть позади и лишь мысленно сосредоточиться на задуманном, Чиполла, откинув назад голову и вытянув вперед руку, зигзагом двигался по залу, совершенно так же, как двигаются в таких опытах все то порываясь вперед, будто его что-то подталкивало, то неуверенно, ощупью, словно прислушиваясь, то становясь в тупик и внезапно, по наитию, поворачивая. Казалось, роли переменялись, флюид шел в обратном направлении, и не перестававший разглагольствовать артист прямо на это указывал. Теперь пассивной, воспринимающей, повинующейся стороной является он, собственная его воля выключена, он лишь, выполняет безмолвную, разлитую в воздухе общую волю собравшихся, тогда как до сих пор лишь он один хотел и повелевал; но Чиполла подчеркивал, что это, по существу, одно и то же. Способность отрешиться от своего «я», стать простым орудием, уверял он, — лишь обратная сторона способности хотеть и повелевать; это одна и та же способность, властвование и подчинение в совокупности представляют один принцип, одно нерасторжимое единство; кто умеет повиноваться, тот умеет и повелевать и наоборот, одно понятие уже заключено в другом, неразрывно с ним связано, как неразрывно связаны вождь и народ, но зато напряжение, непомерное, изнуряющее напряжение целиком падает на его долю, руководителя и исполнителя в одном лице, в котором воля становится послушанием, а послушание — волей, он порождает и то и другое, и потому ему приходится особенно тяжело. Артист не раз усиленно подчеркивал, что ему чрезвычайно тяжело, вероятно, чтобы объяснить свою потребность в подкреплении и частые обращения к рюмочке.

Чиполла двигался ощупью, как в трансе, направляемый и влекомый общей тайной волей всего зала. Он вытащил украшенную камнями булавку из туфли англичанки, куда ее спрятали, и понес, то неуверенно замедляя шаг, то порываясь вперед, другой даме — синьоре Анджольери, — встал на колени и подал ей с условленными словами; они, правда, подходили к случаю, но угадать их было совсем не просто: фразу составили по-французски. «Примите этот дар в знак моего поклонения!» — надлежало ему сказать, и нам казалось, что в трудности задачи крылась известная злонамеренность и отразился разлад между одолевавшей публику жаждой чудесного и желанием, чтобы высокомерный Чиполла потерпел поражение. Очень любопытно было наблюдать, как он, стоя на коленях перед мадам Анджольери, пробовал и так и этак, доискиваясь нужной ему фразы.

— Я должен что-то сказать, проговорил он, — и ясно чувствую, что именно следует сказать. И в то же время чувствую, что произнести это будет ошибкой. Нет, прошу, ни в коем случае не подсказывайте! Не помогайте мне ни одним жестом! воскликнул он, хотя... а может, как раз потому, что именно на это и надеялся. — *Pensez très fort!** — вдруг выкрикнул он на скверном французском и тут выпалил нужную фразу, правда по-итальянски,

* Усиленно думайте! (фр.)

но так, что последнее и главное слово внезапно вырвалось у него на, видимо, вовсе ему незнакомом, но родственном языке — он произнес вместо «venerazione» «vénération»* с ужасным носовым звуком в конце слова — частичный успех, который, после всего ужасно исполненного — нахождения булавки, выбора той, кому следовало ее вручить, коленопреклонения, — произвел, пожалуй, даже больший эффект, чем произвела бы полная победа, и вызвал бурю восхищения.

Вставая с колен, Чиполла отер выступившую на лбу испарину. Вы понимаете, что, рассказывая про булавку, я лишь привожу особенно мне запомнившийся образец его работы. Но Чиполла постоянно разнообразил эту основную форму и к тому же переплетал свои опыты с подобного же рода импровизациями, отнимавшими много времени, на которые его на каждом шагу наталкивало общение с публикой. Больше других, казалось, вдохновляла его наша хозяйка; она вызывала его на ошеломляющие откровения.

— От меня не укрылось, синьора, — обратился он к ней, — что в вашей жизни были необыкновенные, блистательные страницы. Кто умеет видеть, различит над вашим прелестным челом сияние, которое, если я не ошибаюсь, некогда было ярче, чем ныне, — медленно угасающее сияние... Ни слова! Не подсказывайте мне! Рядом с вами сидит ваш супруг, не так ли? — повернулся он к тихому господину Анджольери. — Ведь вы супруг этой дамы, и брак ваш счастлив. Но в счастье это вторгаются воспоминания... царственные воспоминания... Прошлое, синьора, кажется мне, играет в вашей теперешней жизни огромную роль. Вы знали короля... скажите, ведь в минувшие дни на вашем жизненном пути вам встретился король?

— Не совсем, — чуть слышно пролепетала наша миловидная хозяйка, оделявшая нас бульонами и супами, и ее золотисто-карие глаза вспыхнули на аристократически бледном лице.

— Не совсем? Нет, конечно же, не король, я говорил лишь примерно, в самых грубых, общих чертах. Не король и не князь — и тем не менее князь и король в другом, высшем, царстве прекрасного. То был великий артист, возле которого... Вы порываетесь мне возразить и все же не решаетесь или можете возразить лишь наполовину. Так вот! Великая, прославленная во всем мире артистка одарила вас своей дружбой в вашей юности, и это ее священная память осеняет и озаряет всю вашу жизнь... Имя? Нужно ли называть имя той, слава которой давно слилась со славой нашей родины и обрела бессмертие? Элеонора Дузе, — торжественно заключил он, понизив голос.

Маленькая женщина, сраженная его словами, лишь наклонила голову.

Нестихающие аплодисменты едва не перешли в патриотическую овацию.

Почти все в зале, и в первую голову присутствующие здесь постояльцы casa «Eleonora»** знали о необыкновенном прошлом госпожи Анджольери и потому способны были оценить по достоинству интуицию кавальере.

Вставал только вопрос, что успел разузнать сам Чиполла, когда по приезде в Торре стал наводить необходимые в его профессии справки... Впрочем, у меня нет никаких оснований подвергать рационалистическим сомнениям способности, которые на наших глазах оказались для него столь роковыми...

Объявили антракт, и наш повелитель удалился за кулисы. Признаюсь, еще только приступая к рассказу, я опасался этого момента в своем повествовании. Читать мысли чаще всего не так уж сложно, а здесь и вовсе легко. Вы, разумеется, меня спросите, почему же мы наконец не ушли — и я не сумею вам ответить. Я сам не понимаю, я попросту не знаю, как это объяснить. Наверное, было уже начало двенадцатого, скорее всего, даже позже. Дети спали. Последняя серия опытов наскучила им, и природа наконец взяла свое. Девочка прикорнула у меня на коленях, мальчик — у матери. С одной стороны, это было утешительно, но с дру-

* Поклонение (ит. и фр.)

** Виллы «Элеонора» (ит.)

гой — вызывало жалость и напоминало нам, что им давно пора в постель. Клянусь, мы хотели внять этому трогательному напоминанию, искренне хотели. Мы разбудили бедняжек, говоря, что теперь и вправду надо отправляться домой. Но едва они по-настоящему очнулись, как начались неотступные мольбы, а вы сами знаете, убедить детей по доброй воле уйти до конца представления немислимо, их можно разве только заставить. До чего же тут замечательно, канючили они, и ведь никто не знает, что будет дальше, надо хотя бы подождать и посмотреть, с чего фокусник начнет после антракта, да они и капельку уже поспали, только не домой, только не в постель, пока идет чудесное представление!

Мы уступили, положив про себя побыть еще совсем недолго, какие-нибудь несколько минут. Конечно, непростительно, что мы остались, и уж тем более — необъяснимо. Может, мы решили, что, сказав «а» и совершив ошибку, приведя сюда детей, должны сказать и «б»? Но такое объяснение, на мой взгляд, недостаточно. Или представление нас самих уж очень увлекло? И да и нет: чувства, которые вызывал в нас синьор Чиполла, были весьма противоречивы, но таковы же были, если не ошибаюсь, чувства всего зала, однако ведь никто не ушел. Или мы поддались чарам этого человека, столь странным способом зарабатывающего свой хлеб, чарам, которые исходили от него даже помимо всякой программы, даже между номерами, и парализовали нашу решимость? Но с таким же правом можно сказать, что нами владело простое любопытство. Хотелось узнать, чем продолжится так необычно начавшийся вечер, а кроме того, Чиполла, уходя за кулисы, дал понять, что репертуар его отнюдь не исчерпан и у него припасены для нас еще и не такие сюрпризы.

Но дело не в том или не только в том. Вернее всего было бы объединить вопрос, почему мы тогда не ушли, с другим вопросом — почему мы раньше не уехали из Торре. По-моему, это один и тот же вопрос, и, чтобы как-то выйти из затруднения, я мог бы напомнить, что уже раз на него ответил.

Все, что здесь происходило, было так же необычно и захватывающе, оно так же тревожило, оскорбляло и угнетало, как и все остальное в Торре; нет, более того: зал этот словно бы явился средоточием всего необычного, жутковатого, взвинченного, чем была, как нам казалось, заряжена атмосфера курорта, и человек, возвращения которого мы ждали, представлялся нам олицетворением всего этого зла, а поскольку мы не уехали вообще, было бы нелогично уйти теперь. Вот объяснение тому, что мы остались, ваше дело принять его или нет. А лучше я все равно не могу представить.

Итак, на десять минут был объявлен антракт, который растянулся на целых двадцать. Дети, стряхнув с себя сон и в восторге от нашей уступчивости, весь антракт развлекались. Они опять стали переговариваться со зрителями стоячих мест, с Антонио, с Гискардо, с лодочником. Складывая ладошки рупором, они кричали рыбакам добрые пожелания, которые переняли у нас:

— Побольше бы вам завтра рыбки!

— Полные-преполные сети!

Марио, младшему официанту из «Эсквизито», они крикнули:

— Mario, una cioccolata e biscotti!*

На этот раз он обратил внимание и с улыбкой ответил:

— Subito!**

Впоследствии мы не без причины вспоминали эту приветливую, чуть рассеянно-меланхолическую улыбку.

Так прошел антракт, прозвучал удар гонга, зрители, болтавшие в разных концах зала, вновь заняли свои места, дети в жадном нетерпении, поерзав, уселись поудобнее, сложив руки на коленях. Эстрада в перерыве оставалась открытой. Чиполла вышел своей походкой враскачку и тотчас на правах конференсье принялся знакомить публику со второй серией своих опытов.

* Марио, один шоколад с бисквитами! (ит.)

** Сю минуту! (ит.)

Короче говоря, чтобы у вас тут не оставалось неясности, этот самонадеянный горбун был сильнейшим гипнотизером, какого я когда-либо встречал в жизни. Если на афишах он выдавал себя за фокусника и морочил публике голову относительно истинной природы своих представлений, то, видимо, исключительно для того, чтобы обойти закон и полицейские постановления, строго запрещающие заниматься гипнозом в качестве промысла.

Возможно, такая чисто формальная маскировка в Италии принята, и власти либо мирятся с ней, либо смотрят на это сквозь пальцы. Во всяком случае, Чиполла фактически с самого начала не очень-то скрывал подлинный характер своих номеров, а второе отделение программы было уже совершенно открыто и полностью посвящено специальным опытам, демонстрации гипнотического сна и внушения, хотя и тут он в своем концерансе ничего не называл настоящим именем. В нескончаемой череде комических, волнующих, ошеломляющих опытов, которые еще в полночь были в самом разгаре, перед нашими глазами прошел весь арсенал чудес — от самых незначительных до самых страшных, — коими располагает эта естественная и загадочная сила, и зрители, хохоча, покачивая головой, хлопая себя по коленям и аплодируя, встречали каждую забавную подробность, они явно подпали под власть беспредельно уверенной в себе личности гипнотизера, хотя, как мне кажется, их и коробило и возмущало то унижительное, что для всех и каждого заключалось в его триумфах.

Две вещи играли главную роль в этих триумфах: рюмка коньяка и хлыст с рукояткой в виде когтистой лапы. Первое должно было вновь и вновь разжигать его демоническую силу, которая иначе, видимо, грозила иссякнуть; и это могло бы возбудить к нему какое-то человеческое сочувствие, если бы не второе — оскорбительный символ его господства, свистящий в воздухе хлыст, с помощью которого он высокомерно подчинял нас себе, что исключало всякие другие, более теплые чувства, помимо изумленной и негодующей покорности. Но, быть может, именно участия-то ему и недоставало? Неужели он претендовал еще и на это? Неужели хотел завладеть всем? Мне запомнилось одно его замечание, которое указывало на такую претензию с его стороны. Оно вырвалось у него в самый напряженный момент его экспериментов, когда, доведя посредством пассов и дуновений до полного каталептического состояния молодого человека, который сам предложил свои услуги и оказался необычайно восприимчивым объектом для внушения, он не только уложил погруженного в глубокий сон юношу затылком и ногами на спинку двух стульев, но и сам на него уселся, и одеревеневшее тело даже не прогнулось. Вид этого чудовища в вечернем костюме, взгромоздившегося на оцепеневшее тело был настолько фантазмагоричен и омерзителен, что публика, в представлении, будто жертва этого научного развлечения мучается, принялась ее жалеть. «Poveretto!», «Бедняга!» — раздавались простодушные голоса.

— Poveretto! — злобно передразнил Чиполла. — Вы ошиблись адресом, господа! Sono io il poveretto!* Это я терплю все муки.

Зрители молча проглотили его замечание. Ладно, пусть на Чиполлу ложилось все бремя представления, пусть даже он мысленно принял на себя рези в желудке, от которых так жалостно корчился Джованотто, но с виду все было как раз наоборот, и кто же станет кричать «poveretto!» человеку, который мучается ради того, чтобы унижить другого.

Но я забежал вперед и нарушил всякую последовательность. Голова у меня и по сей день полна деяниями этого страстотерпца, только не помню уж, в каком они шли порядке, да это и не важно. Но одно я помню хорошо: большие и сложные опыты, имевшие наибольший успех, производили на меня куда меньшее впечатление, чем некоторые пустяковые и как бы сделанные мимоходом. Эксперимент с молодым человеком, послужившим гипнотизеру скамейкой, пришел мне на ум лишь из-за связанной с ним нотации... Уснувшая на соломенном стуле пожилая дама, которой Чиполла внушил, будто она совершает поездку по Индии, и которая в состоянии транса очень бойко рассказывала о своих дорожных впечатлениях на суше и на воде, меня меньше заинтриговала и не так поразила, как маленький проходной эпизод, последовав-

* Это я бедняга! (ит.)

ший сразу же за антрактом: высокий плотный мужчина, по виду военный, не смог поднять руку лишь потому, что горбун сказал, будто он ее не поднимет, и щелкнул в воздухе хлыстом. Я, как сейчас, вижу перед собой лицо этого усатого, подтянутого colonnello* и насильственную улыбку, с которой он, сжав зубы, сражался за отнятую у него свободу распоряжаться собой. Какой конфуз! Он хотел и не мог; но, видимо, он мог только не хотеть, тут действовала парализующая свободу внутренняя коллизия воли, которую злорадно предрек молодому римлянину наш укротитель.

Незабываема также, во всей ее трогательности и призрачной комичности, сцена с госпожой Анджольери, чью эфирную беззащитность перед его могуществом кавалюере, конечно, не преминул заметить еще при первом своем беззастенчиво-наглом осмотре публики в зале. Он чистейшим колдовством буквально поднял ее со стула и увлек за собой вон из ее ряда, да еще, решив блеснуть, внушил господину Анджольери мысль окликнуть жену по имени, словно затем, чтобы тот бросил на чашу весов и себя, и свои права и супружеским зовом пробудил в душе своей спутницы чувства, способные защитить ее добродетель от злых чар. Но все напрасно! Чиполла, стоя в некотором отдалении от супружеской четы, лишь раз щелкнул хлыстом, и наша хозяйка, вздрогнув всем телом, повернула к нему лицо. «Софрония!» — уже тут крикнул господин Анджольери (а мы и не знали, что госножу Анджольери зовут Софрония), и с полным основанием крикнул, ибо всякому было ясно, какая грозит опасность — его жена, повернув лицо к проклятому кавалюере, просто глаз с него не сводила.

А Чиполла с висящим на руке хлыстом стал всеми десятью длинными, желтыми пальцами манить и звать свою жертву, шаг за шагом отступая.

И тут прозрачно-бледная госпожа Анджольери привстала с места, уже всем корпусом повернулась к заклинателю и поплыла за ним. Призрачное и фатальное видение! Как лунатичка, с неестественно неподвижными, какими-то скованными плечами и шеей, слегка выставив вперед прекрасные руки, она, словно не отрывая ног от пола, скользила вдоль своего ряда вслед за притягивающим ее обольстителем...

— Окликните ее, сударь, ну, окликните же! — требовал изверг.

И господин Анджольери слабым голосом позвал:

— Софрония!

Ах, много еще раз звал он ее и, видя, что жена все больше от него отдаляется, даже прикладывал одну руку горсткой ко рту, а другой — махал. Но жалобный призыв любви и долга бессильно замирал за спиной у пропащей, и в лунатическом скольжении, зачарованная и глухая ко всему, госпожа Анджольери выплыла в средний проход и заскользила по нему дальше, к манившему ее горбуну, в сторону выхода. Создавалось полное впечатление, что она последует за своим повелителем хоть на край света, если только он пожелает.

— Accidenle!** — вскочив с места, завопил в подлинном страхе господин Анджольери, когда они достигли двери зала.

Но в тот же миг кавалюере, так сказать, сбросил с себя лавры победителя и прервал опыт.

— Достаточно, синьора, благодарю вас, — сказал он, с комедиантской галантностью предложил руку точно упавшей с неба женщине и отвел ее к господину Анджольери. — Сударь, — обратился он к нему с поклоном, — вот ваша супруга! С глубочайшим уваженным вручаю ее вам целой и невредимой. Берегите и охраняйте это преданное вам всецело сокровище со всей решимостью мужчины, и пусть вашу бдительность обострит понимание того, что существуют силы более могущественные, нежели рассудок и добродетель, и они лишь в редчайших случаях сочетаются с великодушным самоотречением!

Бедный господин Анджольери, такой тихий и лысый! Не похоже было, чтобы он сумел защитить свое счастье даже от сил, куда менее демонических, чем те, что, в довершение ко всем страхам, теперь еще и глумились над ним. Важный и напыжившийся кавалюере просле-

* Полковника (ит.)

** Караул! (ит.)

довал на эстраду под бурю аплодисментов, которые не в малой степени относились к его красноречию. Если не ошибаюсь, именно благодаря этой победе его авторитет настолько возрос, что он мог заставить публику плясать — да, да, плясать, это следует понимать буквально, — что, в свою очередь, повлекло за собой известную разнузданность, некий полуночный угар, в хмельном дыму которого потонули последние остатки критического сопротивления, так долго противостоявшего влиянию этого отталкивающего человека. Правда, для установления полного своего господства Чиполле пришлось еще выдержать жестокую борьбу с непокорным молодым римлянином, чья закоснелая моральная неподатливость могла явить публике нежелательный и опасный для этого господства пример. Но кавалюере прекрасно отдавал себе отчет в важности примера и, с умом избрав для атаки слабейшую точку обороны, пустил на затравку плясовой оргии того самого хилого и легко впадающего в транс юнца, которого перед тем обратил в бесчувственное бревно. Одного взгляда маэстро было достаточно, чтобы тот, будто громом пораженный, откинув назад корпус, руки по швам, впадал в состояние воинского сомнамбулизма, так что его готовность выполнить любой бессмысленный приказ с самого начала бросалась в глаза. К тому же ему, видимо, нравилось подчиняться, и он с радостью расставался с жалкой своей самостоятельностью, то и дело предлагая себя в качестве объекта для эксперимента и явно считая делом чести показать образец мгновенного самоотрешения и безволия. И сейчас он тут же полез на эстраду, и достаточно было раз щелкнуть хлыстом, чтобы он, по приказу кавалюере, принялся отплясывать «степ», то есть в самозабвенном экстазе, закрыв глаза и покачивая головой, раскидывать в стороны тощие руки и ноги.

Как видно, это доставляло удовольствие, и очень скоро к нему примкнули другие: двое юношей, один бедно, а другой хорошо одетый, тоже принялись, справа и слева от него, исполнять «степ».

Тогда-то и вмешался молодой римлянин, он заносчиво спросил, возьмется ли кавалюере обучить его танцам, даже если он этого не хочет.

— Даже если вы не хотите! — ответил Чиполла тоном, которого я никогда не забуду. Это ужасное «Anche se non vuole!» и сейчас звучит у меня в ушах.

И тут начался поединок. Выпив свою рюмочку и закурив новую сигарету, Чиполла поставил римлянина где-то в среднем проходе лицом к двери, сам встал на некотором расстоянии позади него и, щелкнув в воздухе хлыстом, приказал:

— Balla!*

Противник не тронулся с места.

— Balla! — веско повторил кавалюере и опять щелкнул хлыстом.

Все видели, как молодой человек повел шеей в воротничке, как одновременно рука у него дернулась кверху, а пятка вывернулась наружу. Но дальше этих признаков разбивавшего его искушения, признаков, которые то усиливались, то затихали, долгое время дело не шло. Каждый в зале понимал, что Чиполле тут предстоит сломить героическое упорство, твердое намерение сопротивляться до конца; смельчак отстаивал честь рода человеческого, он дергался, но не плясал; и эксперимент настолько затянулся, что кавалюере пришлось делить свое внимание: время от времени он оборачивался к пляшущим на эстраде и щелкал хлыстом, чтобы держать их в повиновении, и тут же, повернув лицо вполоборота к залу, заверял публику, сколько бы эти беснующиеся ни прыгали, они не почувствуют потом никакой усталости, потому что, по существу, пляшут не они, а он. А затем Чиполла опять впивался буравящим взглядом в затылок римлянина, чтобы взять приступом твердыню воли, не покоряющуюся его могуществу.

Мы видели, как под повторными ударами и окриками Чиполлы твердыня зашаталась — мы наблюдали за этим с деловитым интересом, не свободным от эмоциональных примесей жалости и злорадства. Насколько я понимаю, римлянина подорвала его позиция чистого отрицания. Вероятно, одним нехотением не укрепишь силы духа; не хотеть что-то делать — этого

* Пляши! (ит.)

недостаточно, чтобы надолго явиться смыслом и целью жизни; чего-то не хотеть и вообще уже ничего не хотеть и, стало быть, все-таки выполнить требуемое, — тут, видимо, одно так близко граничит с другим, что свободе уже не остается места. На этом и строил свои расчеты кавальере, когда, между щелканьем хлыста и приказами плясать, уговаривал римлянина, пользуясь помимо воздействий, составляющих его тайну, и смущающими психологическими доводами.

— Balla! — говорил он. — К чему же мучиться? И такое насилие над собой ты называешь свободой? Una ballatina!* Да у тебя руки и ноги сами рвутся в пляс. Какое облегчение дать им наконец волю! Ну вот, ты и танцуешь! Это тебе уже не борьба, а одно наслаждение!

Так оно и было, подергиванья и судорожные трепыханья в теле упряма все усиливались, у него заходили плечи, колени, и вдруг что-то во всех его суставах будто развязалось, и, вскидывая руки и ноги, он пустился в пляс, и все продолжал плясать, пока кавальере под аплодисменты зрителей вел его к эстраде, к другим марионеткам. Теперь нам открылось лицо покоренного, там, наверху, оно было видно всем. «Наслаждаясь», он широко улыбался, полукрыв глаза. Некоторым утешением нам могло служить то, что ему теперь было явно легче, чем в пору его гордыни.

Можно сказать, что его «падение» послужило поворотным пунктом.

Оно растопило лед, торжество Чиполлы достигло апогея; жезл Цирцеи, то бишь свистящий кожаный хлыст с рукояткой в виде когтистой лапы, властвовал безраздельно. К тому времени — это было, как я припоминаю, далеко за полночь, — на тесной эстраде плясало человек восемь или десять, но и в самом зале отнюдь не сидели смирно. Так, например, длиннозубая англичанка в пенсне, безо всякого приглашения маэстро, вышла из своего ряда и в среднем проходе исполнила тарантеллу. Чиполла тем временем сидел развалившись на соломенном стуле в левом углу сцены, курил и высокомерно пускал струйкой дым через щербатые зубы. Раскачивая ногой, а иногда беззвучно смеясь одними плечами, он смотрел на беспорядок в зале и время от времени, почти даже не оборачиваясь назад, щелкал хлыстом перед каким-нибудь плясуном, вздумавшим было прекратить удовольствие. Дети в ту пору не спали. Я упоминаю о них со стыдом. Здесь было скверно, а детям уж и вовсе не место, и если мы их все еще не увели, то я объясняю это лишь тем, что нам тоже отчасти передалось охватившее всех в этот поздний час безрассудство. Ах, будь что будет! Впрочем, наши малыши, слава богу, не понимали всей непристойности этого вечернего увеселения. По наивности они не переставали радоваться небывалому разрешению: вместе с нами сидеть здесь и наблюдать такое зрелище — представление фокусника. Они уже не раз засыпали у нас на коленях, и теперь, с пунцовыми щеками и блестящими глазенками, хохотали от души над скачками, которые проделывали взрослые дяди по приказу повелителя вечера. Они и не думали, что будет так смешно, и лишь только раздавались аплодисменты, тоже принимались радостно хлопать неумелыми ручонками. Но оба по-ребячьи запрыгали от восторга на своих местах, когда Чиполла поманил к себе их друга Марио, Марио из «Эсквизито», — поманил по всем правилам, держа руку у самого носа и попеременно то вытягивая, то сгибая крючком указательный палец.

Марио повиновался. Я и сейчас вижу, как он поднимается по ступенькам к кавальере, а тот продолжает все так же карикатурно манить его к себе указательным пальцем. На какое-то мгновение юноша заколебался, я и это хорошо помню. Весь вечер он простоял, прислонившись к деревянному столбу, скрестив руки или засунув их в карманы пиджака, в боковом проходе, слева от нас, там же, где стоял и Джованотто с воинственной шевелюрой, и внимательно, но без особой веселости, — насколько мы могли заметить, — и бог ведает, понимая ли, что здесь творится, следил за представлением. Ему, видимо, было не по нутру, что и его напоследок позвали. Однако не удивительно, что он послушался знака Чиполлы. К этому его приучила профессия; потом, даже психологически невозможно представить себе, чтобы скромный малый мог послушаться такого вознесенного в этот час на вершину славы человека.

* Только один танец! (ит.)

Итак, волей-неволей Марио отошел от столба и, поблагодарив стоящих перед ним зрителей, которые, оглянувшись, расступились, пропуская его вперед, с недоверчивой улыбкой на толстых губах поднялся на эстраду.

Представьте себе коренастого двадцатилетнего парня, коротко остриженного, с низким лбом и тяжелыми веками, полуопущенными над глазами неопределенного сероватого цвета в зеленых и желтых крапинках.

Я хорошо это помню, потому что мы часто с ним беседовали. Верхняя половина лица с приплюснутым носом, усыпанным у переносицы веснушками, несколько отступала назад по отношению к нижней, где прежде всего выделялись толстые губы, за которыми, когда Марио что-то говорил, поблескивал влажный ряд зубов; именно выпяченные губы, в сочетании с полуприкрытыми глазами, придавали его лицу выражение какой-то простодушной задумчивой грусти, из-за которой Марио нам сразу понравился.

Ничего грубого не было в его чертах, да, этому противоречили бы его на редкость узкие, будто точеные руки, которые, даже среди южан, выделялись своим благородством, и было приятно, когда он вас обслуживал.

Мы знали, что он за человек, не зная его лично, если вы разрешите мне провести такое различие. Видели мы Марио почти ежедневно и даже прониклись своего рода сочувствием к его манере держаться, мечтательной и легко переходившей в рассеянность, которую он, спохватившись, тотчас спешил искупить особым усердием; он держался серьезно, лишь дети иногда вызывали у него улыбку и не то чтобы неприветливо, но без угодливости, без деланной любезности, — или, вернее, он отказался от всяких любезностей, не питая, видимо, никакой надежды понравиться. Образ Марио, во всяком случае, остался бы у нас в памяти — как одно из тех незначительных дорожных впечатлений, которые ярче запоминаются, чем куда более важные. О домашних его обстоятельствах нам было известно лишь то, что отец его служит мелким писарем в муниципалитете, а мать — прачка.

Белая куртка официанта шла ему несравнимо больше, чем поношенный костюм из рендешской полосатой ткани, в котором он сейчас поднялся на эстраду; он был без воротничка, но повязал шею огненнокрасной шелковой косынкой, концы которой запрягал под пиджак.

Марио остановился неподалеку от кавальере, но так как тот продолжал сгибать крючком палец перед своим носом, юноша вынужден был придвинуться еще ближе и стал возле самых ног повелителя, почти вплотную к сиденью стула, и тут Чиполла, растопырив локти, обхватил Марио и повернул так, чтобы нам из зала видно было его лицо. Затем весело, небрежным и властным взглядом окинул юношу с головы до ног.

— Как же так, *ragazzo mio**? — сказал он. — Мы только сейчас знакомимся? Но можешь мне поверить, я-то с тобой познакомился давно... Ну да, я давно тебя приметил и убедился в твоих отличных данных. И как же я мог о тебе забыть? Всё дела, дела, понимаешь... Но скажи мне, как тебя зовут? Меня интересует только имя.

— Меня зовут Марио, — тихо ответил юноша.

— Ах, Марио, прекрасно. Да, имя это часто встречается. Распространенное имя. Древнее имя, одно из тех, что напоминают о героическом прошлом нашей родины. Bravo! *Salve***! — И, приподняв кривое плечо, Чиполла вытянул вперед руку с повернутой вниз ладонью в римском приветствии.

Если он несколько захмелел, то тут нет ничего удивительного; но говорил он по-прежнему четко и свободно, пусть даже во всем его поведении и тоне появилась какая-то сытость и ленивая барственность и в то же время что-то хамоватое и наглое.

— Так вот, Мирно, — продолжал он, — как хорошо, что ты пришел сегодня вечером, да еще надел такой нарядный галстук, он очень тебе к лицу и сразу покорит всех девушек, очаровательных девушек Торре-ди-Венере...

* Мой мальчик (ит.)

** Приветствую! (ит.)

Со стоячих мест, примерно оттуда, где весь вечер простоял Марио, раздался громкий хохот — это смеялся Джованотто с воинственной шевелюрой; стоя там с переброшенным через плечо пиджаком, он без стеснения грубо и язвительно хохотал:

— Ха-ха-ха-ха!

Марио, кажется, пожал плечами. Во всяком случае, он передернулся.

Возможно, что на самом-то деле он вздрогнул, а пожимание плечей должно было служить последующей маскировкой, призванной выразить одинаковое безразличие и к галстуку, и к прекрасному полу.

Кавальере мельком посмотрел вниз, в проход.

— Ну, а до того зубоскала нам нет дела. Он просто завидует успеху твоего галстука у девушек, а может быть, тому, что мы здесь с тобой на эстраде так дружески и мирно беседуем... Если ему уж очень хочется, я ему мигом напомню его колики. Мне это ровно ничего не стоит. Но скажи, Марио, сегодня вечером ты, стало быть, развлекаешься... А днем ты работаешь в галантерейной лавке?

— В кафе, — поправил его юноша.

— Ах так, в кафе! Тут Чиполла, значит, попал пальцем в небо. Ты — *cameriere**, виночерпий, Ганимед — мне это нравится, еще одно напоминание античности, — *salvietta!*** — И Чиполла, на потеху публике, опять простер вперед руку в римском приветствии.

Марио тоже улыбнулся.

— Раньше, правда, — добавил он, справедливости ради, — я некоторое время служил приказчиком в Портеклементе. — В его словах сквозило свойственное обычно людям желание как-то помочь гаданию, найти в нем хоть крупицу истины.

— Так, так! В галантерейной лавке?

— Там торговали гребнями и щетками, — уклончиво отвечал Марио.

— Ну вот, но говорил ли я, что ты не всегда был Ганимедом, не всегда прислуживал с салфеткой под мышкой? Даже если Чиполла иной раз попадет пальцем в небо, все же он не совсем замирается, и ему можно хоть отчасти верить. Скажи, ты мне доверишься?

Неопределенный жест.

— Также своего рода ответ, — заключил кавальере. — Да, доверие твое завоевать не легко. Даже мне, как я вижу, придется с тобой повозиться. Но я замечаю на твоём лице печать замкнутости, печали, *un tratto di malinconia****. Скажи мне, — и он схватил Марио за руку, — ты несчастлив?

— No, *signore*****! — поспешно и решительно отозвался тот.

— Нет, ты несчастлив, — настаивал фигляр, властно преодолевая эту решимость. — Будто я не вижу? Молод еще втирать Чиполле очки! И конечно, тут замешаны девушки, нет, одна девушка. У тебя несчастная любовь?

Марио отрицательно затряс головой. Одновременно рядом с нами опять раздался грубый хохот Джованотто. Кавальере насторожился. Глаза его блуждали по потолку, но он явно прислушивался к хохоту, а потом, как уже раз или два во время беседы с Марио, наполовину обернувшись, щелкнул хлыстом на свою топочущую команду, чтобы у них не остыло рвение.

Но при этом он чуть не упустил своего собеседника, так как Марио, внезапно вздрогнув, отвернулся от него и направился к лестнице. Вокруг глаз юноши залегли красные круги. Чиполла едва успел его задержать.

— Стой, куда! — сказал он. — Это еще что? Ты хочешь удрать, Ганимед, в счастливейшую минуту твоей жизни — она сейчас наступит!

* Официант (ит.)

** Салфетка (ит.). Игра слов: по аналогии с *salve* — приветствую (лат.)

*** След меланхолии (ит.)

**** Нет, синьор (ит.)

Оставайся, и я обещаю тебе удивительные вещи. Я обещаю доказать тебе всю нелепость твоих страданий. Девушка, которую ты знаешь и которую и другие знают, эта... ну, как же ее? Постой! Я читаю ее имя в твоих глазах, оно вертится у меня на языке, да и ты, я вижу, сейчас его назовешь...

— Сильвестра! — выкрикнул все тот же Джованотто снизу.

Кавалере и бровью не повел.

— Есть же такие бессовестные люди! — произнес он, даже не взглянув вниз, а словно бы продолжая начатый разговор с глазу на глаз с Марио. — Такие бесстыжие петухи, которые кукарекают ко времени и безо времени.

Только мы хотели ее назвать, а он возьми и опереди нас, и еще, наглец какой, воображает, будто у него какие-то особые на то права! Да что о нем говорить! Но вот Сильвестра, твоя Сильвестра, уж признайся, вот это девушка! Настоящее сокровище! Сердце замирает, когда смотришь, как она ходит, дышит, смеется, до того она хороша. А ее округлые руки, когда она стирает и откидывает назад голову, стряхивая кудряшки со лба! Ангел, да и только!

Марио уставился на него, сбывчив голову. Он словно забыл, где он, забыл о публике. Красные кольца вокруг его глаз расширились и казались намалеванными. Мне редко случалось такое видеть. Рот с толстыми губами был полуоткрыт.

— И этот ангел заставляет тебя страдать, — продолжал Чиполла, — или, вернее, ты сам из-за него страдаешь... А это разница, дорогой мой, огромнейшая разница, уж ты мне поверь! Любви свойственны такие вот недоразумения, можно даже сказать, что недоразумения нигде не встречаются так часто, как именно в любви. Ты небось думаешь: а что смыслит Чиполла, с его маленьким телесным изъяном, в любви? Ошибаешься, очень даже смыслит, да еще так основательно и глубоко смыслит, что в подобных делах не мешает иной раз к нему прислушаться! Но оставим Чиполлу, что о нем толковать, подумаем лучше о Сильвестре, твоей восхитительной Сильвестре! Как? Она могла предпочесть тебе какого-то кукарекающего петуха, и он смеется, а ты льешь слезы? Предпочесть другого тебе, такому любящему и симпатичному парню? Невероятно, невозможно, мы лучше знаем, я, Чиполла, и она. Видишь ли, когда я ставлю себя на ее место и мне надо выбрать между такой вот просмоленной дубиной, вяленой рыбой, неуклюжей черепахой — и Марио, рыцарем салфетки, который вращается среди господ, ловко разносит иностранцам прохладительные напитки и всей душой пылко меня любит — господи, сердце само подсказывает мне решение, я знаю, кому должна его отдать, кому я давно уже, краснея, его отдала. Пора бы моему избраннику это заметить и понять! Пора бы меня заметить и признать, Марио, мой любимый... Скажи же, кто я?

Отвратительно было видеть, как обманщик охорашивался, кокетливо вертел кривыми плечами, томно закатывал глаза с набрякшими мешочками и, сладко улыбаясь, скалил выщербленные зубы. Ах, но что случилось с нашим Марио, пока Чиполла обольщал его своими речами? Тяжко рассказывать, как тяжело было тогда на это глядеть; то было раскрытие самого сокровенного, напоказ выставлялась его страсть, безнадежная и нежданно ошастливленная. Стиснув руки, юноша поднес их ко рту, он так судорожно глотал воздух, что видно было, как у него вздымается и опускается грудь.

Конечно, от счастья он не верил своим глазам, не верил ушам, позабыв лишь об одном, что им в самом деле не следовало верить.

— Сильвестра! — еле слышно прошептал он, потрясенный.

— Поцелуй, меня! — потребовал горбун. — Поверь, я тебе разрешаю! Я люблю тебя. Вот сюда поцелуй, — и, оттопырив руку, локоть и мизинец, он кончиком указательного пальца показал на свою щеку почти у самого рта. И Марио наклонился и поцеловал его.

В зале наступила мертвая тишина. То была жуткая, чудовищная и вместе с тем захватывающая минута — минута блаженства Марио. И в эти томительные мгновения, когда мы очию увидели всю близость счастья и иллюзии, не сразу, а тут же после жалкого и шутовского прикосновения губ Марио к омерзительной плоти, подставившей себя его ласке, вдруг, слева

от нас, разрядив напряженность, раздался хохот Джованотто — хохот грубый и злорадный и все-таки, как мне показалось, не лишенный оттенка и частицы сочувствия к обделенному мечтателю и не. без отголоска того «poveretto», который фокусник перед тем объявил обращенным не по адресу и приписал себе.

Но не успел затихнуть смех в зале, как Чиполла, со все еще подставленной для поцелуя щекой, щелкнул хлыстом возле ножки стула, и Марио, пробудившись, выпрямился и отпрянул. Он стоял, широко раскрыв глаза и откинув назад корпус, сначала прижал обе ладони, одну поверх другой, к своим оскверненным губам, потом стал стучать по вискам костяшками пальцев, рванулся и, в то время как зал аплодировал, а Чиполла, сложив на коленях руки, беззвучно смеялся одними плечами, бросился вниз по ступенькам. Там, с разбегу, круто повернулся на широко раздвинутых ногах, выбросил вперед руку, и два оглушительных сухих хлопка оборвали смех и аплодисменты.

Все сразу смолкло. Даже плясуны остановились, оторопело выпучив глаза. Чиполла вскочил со стула. Он стоял, предостерегающе раскинув руки, будто хотел крикнуть: «Стой! Тихо! Прочь от меня! Что такое?!», но и следующий миг, уронив голову на грудь, мешком осел на стул и тут же боком повалился на пол, где и остался лежать беспорядочной грудой одежды и искривленных костей.

Поднялась невообразимая суматоха. Дамы, истерически всхлипывая, прятали лицо на груди своих спутников. Одни кричали, требуя врача, полицию. Другие устремились на эстраду. Третьи кучей навалились на Марио, чтобы его обезоружить, отнять у него крошечный, матово поблескивающий предмет, даже мало похожий на револьвер, который повис у него в руке и чей почти отсутствующий ствол судьба направила, столь странно и непредвиденно.

Мы забрали детей — наконец-то! — и повели мимо двух подоспевших карабинеров к выходу.

— Это правда-правда конец? — допытывались они, чтобы уж уйти со спокойной душой.

— Да, это конец, — подтвердили мы.

Страшный, роковой конец. И все же конец, приносящий избавление, — я и тогда не мог и сейчас не могу воспринять это иначе!

1930